

ГРАНИ

GRANI

67

1968

Postverlagsort: Frankfurt/Main, März 1968

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

БЕЛАЯ КНИГА ПО ДЕЛУ А. СИНЯВСКОГО И Ю. ДАНИЭЛЯ

Составитель АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ, Москва

430 страниц НМ 8.50 или \$ 2.50

«Белая книга» вышла на немецком языке также в издательстве
«Посев»

WEISSBUCH IN SACHEN SINJAWSKIJ/DANIEL

416 Seiten

Possev-Verlag

DM 16.80 (\$ 4.50)

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН СОЧИНЕНИЯ

Однотомник. 2-е издание, 1968. Стр. 320. НМ 18.00 (\$ 4.50)

SOLSHENIZYN ALEXANDER ...den Oka-Fluß entlang
Fünfzehn Kurzgeschichten und die Erzählung „Matrjonas Hof“. Aus dem
Russischen übersetzt von Mary von Holbeck und Oscar Enröt. 1965.
80 Seiten. DM 5.80; \$ 1.50.

Вышли из печати и поступили в продажу новые книги

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ СТАТЕЙ

(Посмертное издание)

Содержание: О ПОЭТАХ — Молитва, заклинание и поэзия. Неразгаданные лики и символы. «Бунтующие» герои Пушкина. Черный человек. Баратынский и Пушкин. Из книги о Баратынском. Баратынский. Фаталист (К 150-летию со дня рождения Лермонтова). Жало в дух (Место Тютчева в метафизике российской литературы). Случеский. Неузнанный поэт бессмертия (К. К. Случеский). О ПРОЗАИКАХ — Заметка об одном старом заблуждении. Трудный путь (Место Гоголя в метафизике русской литературы). Федька Каторжный. Гражданин цивилизованного мира. На грани сна и бдения. Борис Зайцев о Чехове.

В книге 314 страниц

Цена 16.80 ДМ или 4.50 ам. долл.

СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ

Сборник статей (1896-1903)

Издана в С-Петербурге в 1903 году и переиздана фотографическим способом в издательстве «Посев» в 1968 году ограниченным тиражом.

Содержание: От автора. 1. О закономерности социальных явлений. 2. Закон причинности и свободы человеческих действий. 3. Хозяйство и право. 4. Иван Карамазов как философский тип. 5. Основные проблемы теории прогресса. 6. Душевная драма Герцена (1. Разочарование в Западе. 11. Философский нигилизм. 111. Духовное возвращение на родину). 7. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева. 8. Об экономическом идеале. 9. О социальном идеале. 10. Задачи политической экономии (1. О субъективизме и объективизме в политической экономии. 11. О так называемой теоретической экономии).

В книге 247 + 21 страниц

Цена 26.-- ДМ или 7.-- ам. долл.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXIII

№ 67

1968 год

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — **Раковый корпус** (отдельные главы) 5

НАТАЛИЯ ГОРБАНЕВСКАЯ — **«В сумасшедшем доме...»** 40

АЛЛА КТОРОВА — **Снежный человек** (повесть) 41

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ — **Крутой маршрут**. Часть вторая 71

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КУРСКИЙ — **Долгие крики** (о поэме «Братская ГЭС» Е. Евтушенко) 89

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ГАЛАНСКОВ — **Открытое письмо** делегату XXIII съезда КПСС
М. Шолохову 115

Г. ПОМЕРАНЦ — **О роли нравственного облика личности в жизни**
исторического коллектива 134

НАУКА

В. ФЛЕРОВ — **Парапсихология и четвертое измерение** 144

О ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Д. ОРЛЕНИН — **«Современная трагедия». Христианство и марксизм**
(первая попытка откровенного диалога) 166

БИБЛИОГРАФИЯ

- О. Можайская.** По лунной дороге. — **Александр Неймирок.** Цветными карандашами. — **Глеб Рар.** «Обиход 1909 года». — **А. Б.** «Советика» — **Ив. Сергеев.** «Современная русская литература». — **Ив. С.** Сборник «Из Глубины». —
И. Качуровский. Новая книга Чехова в Аргентине 181
- Список книг, поступивших в редакцию** 197

ЗАМЕТКИ. ПИСЬМА. ОТКЛИКИ

- О. Можайская.** Ответ французской интеллигенции на призыв Ларисы Даниэль и Павла Литвинова 199
- Л. Донатов.** «Министрам, вождям и газетам — не верьте!» 205
- Гюнтер Цем.** Протокол из Москвы 208
- Из переписки с Россией** 210
- Писатели в борьбе за свободу** 214

С 8 по 12 января происходил «суд» над четверьмя представителями молодой русской интеллигенции. Юрий Галансков (редактор сборника «Феникс 1966») осужден на 7 лет заключения, Александр Гинзбург (составитель «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля») — на 5 лет, Алексей Добровольский (один из авторов «Феникса 1966») — на 2 года, Вера Лашкова (сотрудница «Феникса 1966») — на один год.

Процесс проводился с нарушением элементарных правовых норм, судья и прокурор издевались над подсудимыми и свидетелями. Вынесенный в этих условиях приговор является незаконным и террористическим.

В обвинительном акте говорилось о нашем журнале в связи с тем, что на его страницах были опубликованы материалы из «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» и из «Феникса 1966». Эти материалы не являются ни «клеветническими», ни «подрывными». Они выражают свободное мнение нашей интеллигенции о важнейших проблемах нашей культуры.

Наш журнал видит свою основную задачу в публикации художественных и публицистических произведений, а также документов, которые по цензурным условиям не могут быть напечатаны в России. Выполняя эту задачу, мы опубликовали десятки произведений. Среди авторов — Б. Пастернак, В. Слуцкий, А. Солженицын, А. Ахматова, П. Антокольский, И. Бродский, А. Синявский, Б. Окуджава, Г. Померанц и многие другие. Мы печатали эти произведения, как только они становились достоянием самоиздата, а документы — после того, как они были уже переданы в официальные советские инстанции. Мы печатали их независимо от воли авторов. Поэтому абсолютно необоснованно предъявлять авторам какие-либо обвинения в этом.

Естественно, что редакция нашего журнала в ряде случаев стремилась вступить в контакт с авторами печатаемых произведений. При этом всегда преследовались творческие цели, в которых нет ничего преступного.

Таким образом, ни содержание, ни место публикации, ни связь с редакцией, даже если бы она имела место, не являлись основанием для судебного преследования. Именно поэтому московский процесс проводился закрыто, с нарушением правовых норм, а приговор был расправой с инакомыслящими.

Еще 20 марта 1967 года наш журнал обратился с открытым письмом к деятелям культуры и общественности России. В этом письме мы призывали выступить на защиту А. Синявского, Ю. Даниэля, В. Батшера, В. Хаустова и других преследуемых представителей российской интеллигенции. Мы призывали добиваться того, «чтобы общественность страны была официально поставлена в известность, за что арестованы Галансков, Добровольский, Лашкова, Родзиевский, Гинзбург, Голомшток; чтобы обвинения предъявлялись арестованным в положенные законом сроки (в противном случае они должны быть освобождены);... чтобы суд происходил при открытых дверях с участием всех желающих, в том числе советских и иностранных журналистов; чтобы общественность могла знакомиться с произведениями, которые инкриминируются тем или иным авторам, и, благодаря этому, высказывать своё собственное мнение...» («Посев» от 12 мая 1967 г.).

Сегодня мы видим, что эти человеческие и справедливые требования энергично предъявляются власти независимым общественным мнением нашей страны. Сотни и тысячи подписей стоят под этими требованиями. Их подписывают школьники и академики, писатели и ученые, художники и инженеры... Это — еще небывалое явление для нашего времени.

Мы исполнены верой в будущее нашей страны. Отдавая все силы защите нашей культуры, мы, как и раньше, будем, по мере своих возможностей, поддерживать борьбу за право и свободу. Мы будем широко оповещать мировую общественность о творимых беззакониях; мы будем публиковать в нашем журнале произведения и документы, которые не могут быть опубликованы в России; мы будем их распространять как за границей, так и в самой России.

Редакция журнала
«ГРАНИ»

Раковый корпус

Ниже мы публикуем главы из 1 части повести А. Солженицына «Раковый корпус». Полностью это произведение выйдет в ближайшем будущем в изд-ве «Посев». Ред.

6

Прежде всего Людмила Афанасьевна повела Костоглотова в аппаратную, откуда только что вышла больная после сеанса. С восьми утра почти непрерывно работала здесь большая стовосьмидесятитысячевольтная рентгеновская трубка, свисающая с потолка на проволочных подвесах, а форточка была закрыта, и весь воздух был наполнен чуть сладковатым, чуть противным рентгеновским теплом.

Этот разогрев, как ощущали его легкие (а был он не просто разогрев), становился противен больным после полудюжины сеансов, Людмила же Афанасьевна привыкла к нему, приятен — не приятен. За двадцать лет работы здесь, когда трубки и совсем никакой защиты не имели (она попадала и под провод высокого напряжения, едва и убита не была), Донцова каждый день дышала воздухом рентгеновских кабинетов, и больше часов, чем допустимо, сидела на диагностике. И несмотря на все экраны и перчатки, она получила на себя, наверное, больше «эр», чем самые терпеливые и тяжелые больные, только никто этих «эр» не подсчитывал, не складывал.

Она спешила — но не только, чтобы выйти скорей, а нельзя было лишних минут задерживать рентгеновскую установку. Она показала Костоглотову лечь на твердый топчан под трубку и открыть живот. Какой-то щекочущей прохладной кисточкой она водила ему по коже, что-то очерчивая и как будто выписывающая цифры.

И тут же сестре-рентгентехнику объяснила с х е м у к в а д р а н т о в и как подводить трубку на каждый квадрант. Потом велела ему перевернуться на живот и мазала еще на спине. Объявила:

— После сеанса — зайдёте ко мне.

И ушла. А сестра опять велела ему лечь животом вверх и обложила первый квадрант простынями, потом стала носить тяжёлые коврики из просвинцованной резины и закрывать ими все смежные места, которые не должны были сейчас получить прямого удара рентгена. Гибкие коврики приятно-тяжело облегли тело.

Ушла и сестра, затворила дверь, и видела его теперь только через окошечко в толстой стене. Раздалось тихое гудение, засветились вспомогательные лампы, раскалилась главная трубка.

И через оставленную клетку кожи живота, а потом через прослойки и органы, которым названия не знал сам обладатель, через туловище жабы-опухоли, через желудок или кишки, через кровь, идущую по артериям и венам, через лимфу, через клетки, через позвоночник и малые кости, и еще через прослойки, сосуды и кожу там, на спине, потом через настил топчана, четырехсантиметровые доски пола, через лаги, через засыпку и дальше, дальше, уходя в самый каменный фундамент или в землю, — полились жесткие рентгеновские лучи, не представимые человеческому уму вздрагивающие вектора электрического и магнитного полей, или более понятные снаряды-кванты, разрывающие и решетящие все, что попадалось по пути.

И этот варварский расстрел тяжелыми квантами, происходящий беззвучно и неощутимо для расстреливаемых тканей, за двенадцать сеансов вернул Костоглотову намерение жить, и вкус жизни, и аппетит, и даже веселое настроение. Со второго и третьего прострела освобождаясь от болей, делавших ему невыносимым существование, он потянулся узнать и понять, как же эти пронизывающие снарядики могут бомбить опухоль и не трогать остального тела. Костоглотов не мог вполне поддаться лечению, пока для себя не понял его идеи и не поверил в нее.

И он постарался выведать идею рентгенотерапии от Веры Корнильевны Гангарт, этой милой женщины, обезоружившей его предвзятость и настороженность с первой встречи под лестницей, когда он решил, что пусть хоть пожарниками и милицией его вытаскивают, а доброй волей он не уйдет.

— Вы не бойтесь, объясните, — успокаивал он ее. — Я как тот сознательный боец, который должен понимать боевую задачу, иначе не воюет. Как это может быть, чтобы рентген разрушал опухоль, а остальных тканей не трогал?

Все чувства Веры Корнильевны еще прежде глаз выража-

лись в ее губах. Какие-то были отзывчивые легкие губы у нее, как крылышки. И колебание выразилось в них же: губы дышали в сомнении.

(Что она могла ему рассказать об этой слепой артиллерии, с тем же усердием лущущей по своим, как и по чужим?)

— Ох, не полагается... Ну, хорошо. Рентген, конечно, разрушает все подряд. Только нормальные ткани быстро восстанавливаются, а опухолевые — нет.

Правду ли, неправду ли она сказала, но Костоготову это понравилось.

— О! на таких условиях я играю. Спасибо. Теперь буду выздоравливать!

И, действительно, выздоравливал. Охотно ложился под рентген и во время сеанса еще особо внушал клеткам опухоли, что они — разрушаются, что им — х а н а.

А то и вовсе думал под рентгеном о чем попало, даже дремал.

Сейчас вот он обошел глазами многие висящие шланги и провода и хотел для себя объяснить, зачем их столько, и если есть тут охлаждение, то водяное или масляное. Но мысль его на этом не задержалась и ничего он себе не объяснил.

Он думал, оказывается, о Вере Гангарт. Он думал, что вот такая милая женщина никогда не появится у них в Уш-Тереке. И все такие женщины обязательно замужем. Впрочем, помня этого мужа в скобках, он думал о ней вне этого мужа. Он думал, как приятно было бы поболтать с ней не мельком, а долго-долго, хоть бы вот походить по двору клиники. Иногда напугать ее резкостью суждения — она забавно теряется. Милость ее всякий раз светит в улыбке, как солнышко, когда она только попадает в коридоре навстречу или войдет в палату. Она не по профессии добра, она просто добра. Улыбка у нее добра, и не улыбка, а сами губы. Это какие-то живые отдельные губы, которые вот улетят с лица и взвоятся в небо жаворонком. Всем губам суждено целоваться, целуются и эти, а все-таки у этих свое назначение — журчать о чем-то светлом.

Трубка гудела с легким призвоном.

Он думал о Вере Гангарт, но думал и о Зое. Оказалось, что самое сильное впечатление от вчерашнего вечера, всплывшее с утра, было от ее дружно подобранных грудей, составлявших как бы полочку, почти горизонтальную. Во время вчерашней болтовни лежала на столе около них большая и довольно тяжелая линейка, для расчерчивания ведомостей — не фанерная линейка,

а из струганной досочки. И весь вечер у Костоглотова был соблазн — взять эту линейку и положить на полочку ее груди — проверить — соскользнет или не соскользнет. Ему казалось, что — не соскользнет.

Но он боялся ее обидеть.

Еще он с благодарностью думал о том самом тяжелом просвинцованном коврике, который кладут ему ниже живота. Этот коврик давил на него и радостно подтверждал: «Защищу, не бойся!»

А может быть, нет? А может, он недостаточно толст? А может, его не совсем аккуратно кладут?

Впрочем, за эти двенадцать дней Костоглотов не просто вернулся к жизни — к еде, движению и веселому настроению. За эти двенадцать дней он вернулся и к ощущению самому красному в жизни, но которое за последние месяцы в болях совсем потерял. И, значит, свинец держал оборону?

А все-таки надо было выскакать из клиники, пока цел.

Он и не заметил, как прекратилось жужжание и стали остывать розовые нити. Вошла сестра, стала снимать с него щитки и простыни. Он спустил ноги с топчана и тут хорошо увидел на своем животе фиолетовые клетки и цифры.

— А как же мыться? — спросил он сестру.

— Только с разрешения врачей.

— Удобненькое устройство. Так это что, меня — на месяц заготовили?

Он пошел к Донцовой. Та сидела в комнате короткофокусных аппаратов и, надев очки, округленно-четыреугольные, смотрела на просвет большие рентгеновские пленки. Оба аппарата были выключены, обе форточки открыты, и больше не было никого.

— Садитесь, — сказала Донцова сухо.

Он сел.

Она еще продолжала сравнивать две рентгенограммы.

Хотя Костоглотов с ней и спорил, но все это была его оборона против излишеств медицины, разработанных в инструкции. А сама Людмила Афанасьевна вызывала у него доверие — не только мужской решительностью, четкими командами в темноте у экрана, и возрастом, и безусловной преданностью работе одной, но больше всего тем, как она с первого дня уверенно щупала контур опухоли и шла точно-точно по нему. О правильности прощупа ему говорила сама опухоль, которая тоже что-то чувствовала.

Только больной может оценить, верно ли врач понимает опухоль пальцами. Донцова так щупала его опухоль, что ей и рентген был не нужен.

Отложив рентгенограммы и сняв очки, она сказала:

— Костоглотов. В вашей истории болезни слишком существенный пробел. Нам нужна точная уверенность в природе вашей первичной опухоли. — Когда Донцова переходила на медицинскую речь, ее манера говорить очень убыстрялась: длинные фразы и термины проскакивали одним дыханием. — То, что вы рассказываете об операции в позапрошлом году, и положение нынешнего метастаза сходятся к нашему диагнозу. Но все-таки не исключаются и другие возможности. А это нам затрудняет лечение. Взять пробу сейчас из вашего метастаза, как вы понимаете, невозможно.

— Слава Богу. Я бы и не дал.

— Я все-таки не понимаю — почему мы не можем получить стеклов с первичным препаратом. Вы-то сами вполне уверены, что гистологический анализ был?

— Да, уверен.

— Но почему в таком случае вам не объявили результата? — строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться.

А вот Костоглотов торопиться отвык:

— Результата? Такие у нас были бурные события, Людмила Афанасьевна, такая обстановка, что честное слово... Просто стыдно было о моей биопсии спрашивать. Тут головы летели. Да я и не понимал, зачем биопсия. — Костоглотов любил, разговаривая с врачами, употреблять их термины.

— Вы не понимали, конечно. Но врачи-то должны были понять, что этим не играют?

— Врачи?

Он посмотрел на сединку, которую она не прятала и не закрашивала, охватил собранное деловое выражение ее несколько скуластого лица.

Как идет жизнь, что вот сидит перед ним его соотечественница, современница и доброжелатель — и на общем их родном русском языке он не может объяснить ей самых простых вещей. Слишком издали начинать надо, что ли. Или слишком рано оборвать.

— И врачи, Людмила Афанасьевна, ничего поделать не могли. Первый хирург, украинец, который назначил мне операцию

и подготовил меня к ней, был взят на этап в самую ночь под операцию.

— И что же?

— Как что? Увели.

— Но позвольте, его предупредили — и он мог...

Костоглотов рассмеялся откровенно. Ему было очень забавно.

— Об этапе никто не предупреждает, Людмила Афанасьевна. В том-то и смысл, чтобы выдернуть человека внезапно.

Донцова нахмурилась крупным лбом. Костоглотов говорил какую-то несообразицу.

— Но если у него был операционный больной?..

— Ха! Там принесли еще почище меня. Один литовец проглотил алюминиевую ложку, столовую.

— Как это может быть?!

— Нарочно. Чтоб уйти из одиночки. Он же не знал, что хирурга увозят.

— Ну, а... потом? Ведь ваша опухоль быстро росла?

— Да, прямо-таки от утра до вечера, серьезно... Потом дней через пять привезли с другого лагпункта хирурга-немца, Карла Федоровича. Во-от... Ну, он осмотрелся на новом месте и еще через денек сделал мне операцию. Но никаких этих слов: «злокачественная опухоль», «метастазы» — никто мне не говорил. Я их и не знал.

— Но биопсию он послал?

— Я тогда ничего не знал, никакой биопсии. Я лежал после операции, на мне мешочки с песком. К концу недели стал учиться спускать ногу с кровати, стоять — вдруг собирают из лагеря еще этап, человек семьсот, называется «бунтарей». И в этот этап попадает мой смиреннейший Карл Федорович. Его взяли из жилого барака, не дали обойти больных последний раз.

— Дикость какая!

— Да это еще не дикость. — Костоглотов оживился больше обычного. — Прибежал мой дружок, шепнул, что я тоже в списке на этот этап, начальница санчасти, мадам Дубинская, дала согласие. Дала согласие, зная, что я ходить не могу, что у меня швы не сняты, вот сволочь!.. Простите... Ну, я твердо решил: ехать в телячьих вагонах с неснятыми швами — загноятся, это смерть. Сейчас за мной придут, скажу: стреляйте тут, на койке, никуда не поеду. Твердо! Но за мной не пришли. Не потому, что смилостивилась мадам Дубинская, она еще удивлялась, что меня

не отправили. А разобрались в учетно-распределительной части: сроку мне оставалось меньше года. Но я отвлекся... Так вот я подошел к окну и смотрю. За штакетником больницы — линейка, метров двадцать от меня, и на нее уже готовых с вещами сгоняют на этап. Оттуда Карл Федорович меня в окне увидал и кричит: «Костоглотов! Откройте форточку.» Ему надзор: «Замолчи, падло!» А он: «Костоглотов! Запомните! Это очень важно! Срез вашей опухоли я направил на гистологический анализ в Омск, на кафедру патанатомии, запомните!» Ну и... угнали их. Вот мои врачи, ваши предшественники. В чем они виноваты?

Костоглотов откинулся в стуле. Он разволновался. Его охватило воздухом той больницы, не этой.

Отбирая нужное от лишнего (в рассказах больных всегда много лишнего), Донцова вела свое:

— Ну, и что ж ответ из Омска? Был? Вам объявили?

Костоглотов пожал остроуглыми плечами.

— Никто ничего не объявлял. Я и не понимал, зачем мне это Карл Федорович крикнул. Только вот прошлой осенью, в ссылке, когда меня уж очень забрало, один старичок-гинеколог, мой друг, стал настаивать, чтоб я запросил. Я написал в свой лагерь. Ответа не было. Тогда написал жалобу в лагерное управление. Месяца через два ответ пришел такой: «При тщательной проверке вашего архивного дела установить анализа не представляется возможности». Мне так тошно уже становилось от опухоли, что переписку эту я бы бросил, но поскольку все равно и лечиться меня комендатура не выпускала, — я написал наугад и в Омск, на кафедру патанатомии. И оттуда быстро, за несколько дней, пришел ответ — вот уже в январе, перед тем, как меня выпустили сюда.

— Ну вот, вот! Этот ответ! Где он?!

— Людмила Афанасьевна, я сюда уезжал — меня... Безразлично все. Да и бумажка без печати, без штампа, это просто письмо от лаборанта кафедры. Она любезно пишет, что именно от той даты, которую я называю, именно из того поселка поступил препарат, и анализ был сделан и подтвердил вот... подозреваемый вами вид опухоли. И что тогда же ответ был послан запрашивающей больнице, то есть нашей лагерной. И вот это очень похоже на тамошние порядки, я вполне верю: ответ пришел, никому не был нужен, и мадам Дубинская...

Нет, Донцова решительно не понимала такой логики! Руки

ее были скрещены и она нетерпеливо прихлопнула ладонями повыше локтей.

— Да ведь из такого ответа следовало, что вам немедленно нужна рентгенотерапия!

— Ко-го? — Костоглотов шутливо прижмурился и посмотрел на Людмилу Афанасьевну. — Рентгенотерапия? — Ну вот, он четверть часа рассказывал ей — и что же рассказал? Она снова ничего не понимала. — Людмила Афанасьевна! — воззвал он. — Нет, чтоб тамошний мир вообразить... Ну, о нем совсем не распространено представление! Какая рентгенотерапия! Еще боль у меня не прошла на месте операции, вот как сейчас у Ахмаджана, а я уже был на общих работах и бетон заливал. И не думал, что могу быть чем-то недоволен. Вы знаете, сколько весит глубокий ящик с жидким бетоном, если его вдвоем поднимать?

Она опустила голову. Будто это она сама и послала его на бетон.

Да, выяснить историю этой болезни было сложновато.

— Ну, пусть. Но вот теперь этот ответ кафедры патанатомии — почему же он без печати? Почему он — частное письмо?

— Еще спасибо, что хоть частное письмо! — уговаривал Костоглотов. — Попался добрый человек — лаборантка. Все-таки добрых людей среди женщин больше, чем среди мужчин, я замечаю... А частное письмо — из-за нашей треклятой секретности! Она и пишет дальше: однако препарат опухоли был прислан к нам безымянно, без указания фамилии больного. Поэтому мы не можем дать вам официальной справки и стекла препарата тоже не можем выслать. — Костоглотов начал раздражаться. Это выражение быстрее других завладевало его лицом. — Великая государственная тайна! Идиоты! Трясутся, что на какой-то там кафедре узнают, что в каком-то лагере томится некий узник Костоглотов. Брат Людовика! Теперь анонимка будет там лежать, а вы будете голову ломать, как меня лечить. Зато тайна!

Донцова смотрела твердо и ясно. Она не уходила от своего.

— Что ж, и это письмо я должна включить в историю болезни.

— Хорошо, вернусь в свой аул — и сейчас же вам его вышлю.

— Нет, надо быстрее. Этот ваш гинеколог не найдет, не вышлет?

— Да найти-то найдет... А сам я когда поеду? — Костоглотов смотрел исподлобья.

— Вы поедете тогда, — с большим значением ответила Дон-

цова, — когда я сочту нужным прервать ваше лечение. И то на время.

Этого момента и ждал Костоглотов в разговоре! Его-то и нельзя было пропустить без боя!

— Людмила Афанасьевна! Как бы нам установить не этот тон взрослого с ребенком, а — взрослого со взрослым? Серьезно. Я вам сегодня на обходе...

— Вы мне сегодня на обходе, — погрознело крупное лицо Донцовой, — устроили позорную сцену. Что вы хотите? — будоражить больных? Что вы им в голову вколачиваете?

— Что я хотел? — Он говорил не горячась, тоже со значением, и стул занимал прочно, спиной о спинку. — Я хотел только напомнить вам о своем праве распоряжаться своей жизнью. Человек — может распоряжаться своей жизнью, нет? Вы признаете за мной такое право?

Донцова смотрела на его бесцветный извилистый шрам и молчала. Костоглотов развивал.

— Вы сразу исходите из неверного положения: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Дальше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, программа, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — песчинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит.

— Клиника берет с больных письменное согласие перед операцией, — напомнила Донцова.

(К чему это она об операции?.. Вот уж на операцию он не дастся ни за что!)

— Спасибо! За это — спасибо, хотя она так делает для собственной безопасности. Но кроме операции — ведь вы ни о чем не спрашиваете больного, ничего ему не поясняете! Ведь чего стоит один рентген!

— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась Донцова. — Не от Рабиновича ли?

— Никакого Рабиновича я не знаю! — уверенно мотнул головой Костоглотов. — Я говорю о принципе.

(Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать.)

Рабинович был амбулаторный больной, уже получивший двести с чем-то сеансов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавшийся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он — в квартире, в доме, в городе, никто его не понимал: здоровые люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и неудачах, казавшихся им очень зна-

чительными. Даже своя семья уже устала от него. Только тут, на крыльчке противоракового диспансера, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «душки» и сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облечения.

Скажите! Он говорил о принципе!.. Только и не хватало Донцовой и ее ординаторам проводить дни в беседах с больными о принципах лечения! Когда бы тогда и лечить!

Но такой дотошный любознательный упрямец, как этот или как Рабинович, изводивший ее выяснениями о ходе болезни, попадались на пятьдесят больных один, и не миновать было тяжелого жребия иногда с ними объясниться. Случай же с Костоглотовым был особый и медицински: особый в том небрежном, как будто намеренно-зловном ведении болезни до нее, когда он был допущен, дотолкнут до самой смертной черты — и особый же в том крутом исключительно быстром оживлении, которое под рентгеном у него началось.

— Костоглотов! За двенадцать сеансов рентген сделал вас живым человеком из мертвеца — и как же вы смеете руку заносить на рентген? Вы жалуетесь, что вас в лагере и ссылке не лечили, вами пренебрегали — и тут же рядом вы жалуетесь, что вас лечат и о вас беспокоятся? Где логика?

— Получается, логики нет, — потряс черными кудрями Костоглотов. — Но может быть, ее и не должно быть, Людмила Афанасьевна? Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснен логикой? или там экономикой? или физиологией? Да, я приехал к вам мертвецом, и просился к вам, и лежал на полу около лестницы — и вот вы делаете логический вывод, что я приезжал к вам спасаться л ю б о й ц е н о й. А я не хочу — любой ценой!! Такого и на свете нет ничего, за что б я согласился платить л ю б у ю ц е н у! — Он стал спешить, как не любил. Но Донцова клонила его перебить, а еще тут много надо было высказать. — Я приехал к вам за о б л е г ч е н и е м с т р а д а н и й! Я говорил: мне очень больно, помогите! И вы помогли! И вот мне не больно. Спасибо! Я ваш благодарный должник. Только теперь — отпустите меня! Дайте мне, как собаке, убраться к себе в конуру и там отлежаться и отлизаться.

— А когда вас снова подопрет — вы опять приползете к нам?

— Может быть. Может быть, опять приползу.

— И мы должны будем вас принять?

— Да!! И в этом я вижу ваше милосердие! А вас беспокоит что? — процент выздоровления? отчетность? Как вы запишете,

что отпустили меня после пятидесяти сеансов, если АМН рекомендует не меньше шестидесяти?

Такой сбивчивой ерунды она еще никогда не слышала. Как раз с точки зрения отчетности очень выгодно было сейчас его выписать с «резким улучшением», а через пятьдесят сеансов этого не будет.

А он все толок свое:

— С меня довольно, что вы опухоль попятели. И остановили. Она — в обороне. И я в обороне. Прекрасно. Солдату лучше всего живется в обороне. А вылечить «до конца» вы все равно не сможете, потому что никакого конца у ракового лечения не бывает. Да и вообще все процессы природы характеризуются ассимитотическим насыщением, когда большие усилия приводят уже к малым результатам. Вначале моя опухоль разрушалась быстро, теперь пойдет медленно — так отпустите меня с остатками моей крови.

— Где вы этих сведений набрались, интересно? — сощурилась Донцова.

— А я, знаете, с детства любил почитывать медицинские книги.

— Но чего именно вы боитесь в нашем лечении?

— Чего мне бояться — я не знаю, Людмила Афанасьевна, я не врач. Это, может быть, знаете вы, да не хотите мне объяснить. Вот, например, Вера Корнильевна хочет назначить мне колоть глюкозу...

— Обязательно.

— А я — не хочу.

— Да почему же?

— Во-первых, это неестественно. Если мне уж очень нужен виноградный сахар — так давайте мне его в рот! Что это придумали в XX веке: каждое лекарство — уколом? Где это видно в природе? у животных? Пройдет сто лет — над нами, как над дикарями, будут смеяться. А потом — как колют? Одна сестра попадет сразу, а другая истычет весь этот вот... локтевой сгиб. Не хочу! Потом я вижу, что вы подбираетесь к переливанию мне крови.

— Вы радоваться должны! Кто-то отдает вам свою кровь! Это — здоровье, это — жизнь!

— А я не хочу! Одному чечену тут при мне перелили, его потом на койке подбрасывало три часа, говорят: «неполное совмещение». А кому-то ввели кровь мимо вены, у него шишка на

руке вскочила. Теперь компрессы и парят целый месяц. А я не хочу.

— Но без переливания крови нельзя давать много рентгена.

— Так не давайте! Почему вообще вы берете право себе решать за другого человека? Ведь это — страшное право, оно редко ведет к добру. Бойтесь его! Оно не дано врачу!

— Оно именно дано врачу. В первую очередь — ему! — убежденно вскрикнула Донцова, уже сильно рассерженная. — А без этого права не было бы и медицины никакой!

— А к чему это ведет? Вот скоро вы будете делать доклад о лучевой болезни, так?

— Откуда вы знаете? — изумилась Людмила Афанасьевна.

— Да это легко предположить...

(Просто лежала на столе толстая папка с машинописными листами. Надпись на папке приходилась Костоготову вверх ногами, но за время разговора он прочел ее и обдумал.)

— ...Легко догадаться. Потому что появилось новое название, и, значит, надо делать доклады. Но ведь и двадцать лет назад вы облучали какого-нибудь такого Костоготова, который отбивался, что боится лечения, а вы уверяли, что все в порядке, потому что еще не знали лучевой болезни. Так и я теперь: еще не знаю, чего мне надо бояться, но — отпустите меня! Я хочу выздороветь собственными силами. Вдруг да мне станет лучше, а?

Есть истина у врачей: больного надо не пугать, больного надо ободрять. Но такого назойливого больного, как Костоготов, надо было, напротив, ошеломить.

— Лучше? Не станет! Могу вас заверить, — она хлопнула четырьмя пальцами по столу, как хлопнушкой муху, — не станет! Вы — она еще соразмерила удар, — умрете!

И смотрела, как он вздрогнет. Но он только затих.

— У вас будет судьба Азовкина. Видели, да? Ведь у вас с ним одна болезнь и запущенность почти одинаковая. Ахмаджана мы спасем — потому что его стали облучать сразу после операции. А у вас потеряно два года, вы думайте об этом! И нужно было сразу делать вторую операцию — ближнего по ходу следования лимфоузла, а вам пропустили, учтите. И метастазы потекли! Ваша опухоль — из самых опасных видов рака! Она опасна тем, что скоротечна и резко-злокачественна, то есть очень проворно дает метастазы. Ее смертельность совсем недавно составляла девяносто процентов, вас устраивает? Вот, я вам покажу...

Она вытащила папку из груди и начала рыться в ней.

Костоглотов молчал. Потом заговорил, но тихо, совсем не так уверенно, как раньше:

— Откровенно говоря, я за жизнь не очень-то держусь. Не только впереди у меня ее нет, но и сзади не было. И если проглянуло мне пожить полгода — надо их и прожить. А на десять-двадцать лет планировать я не хочу. Лишнее лечение — лишнее мучение. Начнется рентгеновская тошнота, рвота — зачем?

— Нашла! Вот! Это наша статистика. — И она обернула к нему двойной тетрадный листик. Через весь развернутый лист шло название его опухоли, а потом над левой стороной: «Уже умерли», над правой: «Еще не умерли». И в три колонки писались мужские фамилии — в разное время, карандашами, чернилами. В левой стороне помарок не было, а в правой — вычеркивания, вычеркивания, вычеркивания... — Так вот... При выписке мы записываем каждого в правый список, а потом переносим в левый... Но все-таки есть счастливицы, которые остаются в правом, видите?

Она дала ему еще посмотреть список и подумать.

— Вам кажется, что вы выздоровели! — опять приступила она энергично. — Вы — больны, как и были. Каким пришли к нам, такой и остались. Единственное, что выяснилось — что с вашей опухолью можно бороться! Что не все еще погибло. И в этот момент вы заявляете, что уйдете? Ну, уходите! Уходите! Выписывайтесь хоть сегодня! Я сейчас дам распоряжение... А сама занесу вас вот в этот список. Еще не умерших.

Он молчал.

— А? Решайте!

— Людмила Афанасьевна, — примирительно выдвинул Костоглотов. — Ну если нужно какое-то разумное количество сеансов — пять, десять...

— Не пять и не десять! Ни одного! Или столько, сколько нужно! И все виды лечения, какие понадобятся! И курить бросьте! И еще обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но с радостью! Вот только тогда вы вылечитесь!

Он опустил голову. Отчасти-то сегодня он торговался с запросом. Он спасался, как бы ему не предложили операцию — но вот и не предложили. А облучаться еще можно, ничего. В запасе у Костоглотова было секретное лекарство — иссык-кульский корень, он рассчитывал уехать к себе в глушь не просто, а полечиться корнем. Имея корень, он вообще приезжал в этот раковый диспансер только для пробы.

А доктор Донцова, видя, что победила, сказала добродушно:

— Хорошо, глюкозы давать вам не буду. Вместо нее — другой укол, внутримышечный.

Костоготов улыбнулся:

— Ну, это я вам уступаю.

— И пожалуйста: ускорьте пересылку омского письма.

Он шел от нее и думал, что идет между двумя вечностями. С одной стороны — список «еще не умерших» с обязательным вычеркиванием. С другой стороны, вечная ссылка. Вечная, как звезды. Как Галактика.

8

Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддубев был бы мужчина в расцвете. Ему еще не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, тверд в ногах и здрав умом. Он не то что был двухильный, но двухребетный, и после восьми часов мог еще восемь отработать как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той немного убыло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддубеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силу, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведал он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел — ни тяжелым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами. И только в прошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим. Раком.

Это сейчас он так с размаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпелу было — оттягивал, не шел к врачам. И когда уже пошел, и от диспансера к диспансеру дошел до ракового, а здесь всем до одного больным говорили, что у них не рак, — Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него, и обойдется.

А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Это языком он себе выговаривал плату там, где ее не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на

начальство. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирнозадые, только всегда без политики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить. «Ах, чтоб твой язык отсох!» — проклинала одна такая временная теща. Но язык только в шибко пьяном виде отказывал Ефрему.

И вдруг он стал наращиваться. Цепляться о зубы. Не помещаться в сочном мягком зеве.

А Ефрем все отряхивался, все скалился перед товарищами: — Поддуев! Ничего на свете не боится!

И те говорили:

— Да-а, вот у Поддуева — сила воли.

А это была не сила воли, а упятеренный страх. Не из силы воли — из страха он держался и держался за работу, как только мог, откладывая операцию. Всей жизнью своей Поддуев был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему выше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя тем, что был на ногах, и каждый день, как ни в чем не бывало, шел на работу и слышал похвалы своей воле.

Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по несколько суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись, так он надеялся! — нет. Распухал язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился.

Операцию делал Лев Леонидович — и замечательно ж как сделал! Как обещал: укоротился язык, сузился, но быстро привык снова все то же говорить, что и раньше, только, может, не так чисто. Его покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал: «А теперь через три месяца приезжай и еще одну операцию сделаем — на шее. Эта — легкая будет.»

Но таким «легким» на шее Поддуев тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы — он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте долго не жить и шутя мог сейчас завяяться хоть на Колыму, хоть в Хакассию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья — только любил он вольную жизнь, да деньги в кармане. Однако удержался, не поехал. А из клиники писали: сами не явитесь, приведем через милицию. Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак.

Он поехал. Он мог, конечно, еще не дать согласия. Но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал за задержку. И его порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари, и долго он тут лежал в обмоте, и выпустили, качая головами.

Но уже в вольной жизни не нашел он прежнего вкуса: разо- нравилась ему и работа и гулянки, и питье и курье. На шее у него не мягчело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало, даже и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам.

И когда месячишко назад он вернулся опять все к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной расшивкой швов и взошел на то же полированное тысячами ног крылечко меж тополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он был в полосатом больничном, и в той же палате, близ операционной, с окнами, упертыми в задний забор, и ожидал операцию, по бедной шее вторую, а общим счетом третью, — Ефрем Поддуйев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него — рак.

И теперь, порываясь к равенству, он стал и всех соседей убеждать, что рак и у них. Что никому отсюда не вырваться. Что все сюда вернуться. Не то чтоб он находил удовольствие давить и слушать, как похрущивают, а пусть не врут, пусть правду думают.

Ему сделали третью операцию, большей и глубже. Но после нее на перевязках доктора что-то не повеселели, а буркали друг другу не по-русски и обматывали все плотней и выше, сращивая бинтами голову с туловищем. И в голову ему стреляло все сильней, все чаще, все чаще, почти уже и подряд.

Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и то, от чего он жмурился и отворачивался два года: что пора Ефрему подышать. Так, со злорадством, оно даже легче получалось: не умирать — подышать.

Но это можно было только выговорить, а ни умом вообразить, ни сердцем представить: как же так может с ним, Ефремом? Как же это будет? И что надо делать?

От чего он прятался за работой и между людей, — то дошло теперь один на один и душило повязкой за шею.

И ничего не мог он услышать в помощь от соседей — ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже, ни на верхнем. Все было переговорено — все не то.

Вот тут его и замотало от окна к двери и обратно, по пять часов в день и по шесть. Это он бежал искать помощи. Сколько жил Ефрем и где ни бывал, — а не бывал он только в главных

городах, окраины все прочесал, — и ему и другим всегда было ясно, что от человека требуется. От человека требуется или хорошая специальность или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги. И когда люди знакомятся, то за как зовут. сразу идет: кем работаешь, сколько получаешь. И если человек не успел в заработках, значит — или глупый, или несчастный, а в общем так себе человечешко.

И такую вполне понятную жизнь видел Поддуев все эти годы и на Воркуте, и на Енисее, и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии. Люди зарабатывали большие деньги, а потом их тратили — хоть по субботам, хоть в отпуске — разом все.

И было это складно, это годилось, пока не заболели люди раком или другим смертельным. Когда же заболели, то становились ничто и их специальность, и хватка, и должность, и зарплата. И по их беспомощности и по желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки и что-то в жизни упустили.

Но что же?

Смолоду слышал Ефрем, да и знал про себя и про товарищей, что они, молодые, росли умней своих стариков. Старики и до города за весь век не доезжали, боялись, а Ефрем в тринадцать лет уже скакал, из нагана стрелял, а к пятнадцати всю страну, как бабу, перещупал. Но вот сейчас, меряя палату, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на Каме, хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченные, облегченно, будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было.

А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочает, а языком все доказывает: не умру! у меня не рак!

Будто куры. Ведь каждую ждет нож по глотке, а они все кудахчут, все за кормом роются. Унесут одну резать, а остальные роются.

Так день за днем вышагивал Поддуев по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было — нельзя. Услышать было — не от кого. И уж меньше всего ожидал бы он найти это в какой-нибудь книге.

Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы, но собственной тяги читать у него не было: вместо газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе, да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, он и не густо видал книгочеев. Поддуев читал по нужде — брошюры по обмену опытом, описания подъемных механизмов, служебные инструкции, приказы и «Краткий курс» до четвертой главы. Тратить деньги на книги или в библиотеку за ними переться — находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая — прочитывал он страниц двадцать-тридцать, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни.

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах — он до них не дотрагивался. И эту синенькую с золотой росписью тоже бы не стал читать, да всучил ее Костоглов в самый пустой тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут еще он бы не стал читать, если б это был роман. Но это были рассказы маленькие, которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать Поддуев названия и повеяло на него сразу, что идет как бы о деле. «Труд, смерть и болезнь». «Главный закон». «Источник». «Упустишь огонь — не потушишь». «Три сердца». «Ходите в свете, пока есть свет».

Ефрем раскрыл, какой поменьше. Прочел его. Захотелось подумать. Он подумал. Захотелось этот же рассказик еще раз прочесть. Перечел. Опять захотелось подумать. Опять подумал.

Так же вышло и со вторым.

Тут погасили свет. Чтобы книгу не уперли, а утром ее не искать, Ефрем сунул ее к себе под матрац. В темноте он еще рассказывал Ахмаджану старую басню, как делил Аллах лета жизни и что много ненужных лет досталось человеку (впрочем, сам он не верил в это, никакие лета не представлялись бы ему ненужными, если бы здоровье). А перед сном еще думал о прочитанном.

Только в голову шибко стреляло и мешало думать.

Утро в пятницу было пасмурное, и как всякое больничное утро, — тяжелое. Каждое утро в этой палате начиналось с мрачных речей Ефрема. Если кто высказывал какую надежду или желание, Ефрем тут же его охлаживал и давил. Но сегодня ему была нехоть смертная открывать рот, а приудобился он читать

эту тихую, спокойную книгу. Умываться ему было почти лишнее, потому что даже защечья его были подбинтованы; завтрак можно было съесть в постели; а обхода хирургических сегодня не было. И медленно переворачивая шершавую, толстоватую бумагу этой книги, Ефрем помалкивал, почитывал да подумывал.

Прошел обход лучевых, погавкал на врача этот золото-очкастый, потом струсил, его укололи; качал права Костоглотов, уходил, приходил; выписался Азовкин, попрощался, ушел согнутый, держась за живот; вызывали других на рентген, на вливания. А Поддуев так и не вылез топтать дорожку меж кроватей, читал себе и молчал. С ним разговаривала книга, не похожая ни на кого, занято.

Целую жизнь он прожил, а такая серьезная книга ему не попадалась.

Хотя вряд ли бы он стал ее читать не на этой койке и не с этой шеей, стреляющей в голову. Рассказиками этими едва ли можно было прошибить здорового.

Еще вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы?» До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы, он ведь и думал последние недели об этом самом: чем люди живы? Только назвать не умел.

Рассказ был не маленький, но с первых же слов читался легко, ложился на сердце мягко и просто.

«Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьей сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и чего зарабатывает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та изнасилась в лохмотья.»

Понятно это было все, и дальше очень понятно: сам Семен поджарый и подмастерье Михайла худощавый, а барин: «Как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит... С житья такого как им гладким не быть, этакое заклепа и смерть не возьмет.»

Повидал таких и Ефрем довольно: Карашук, начальник углестроя, такой был, и Антонов такой, и Черев, и Кухтиков. Да и сам Ефрем не начинал ли на такого вытягивать?

Медленно, как по слогам разбирая, Поддуев прочел весь рассказ до конца.

Это было уже к обеду.

Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить. Как будто что в него вошло и перевернуло там. И где раньше были глаза — те-

перь глаз не было. И где раньше рот приходился — теперь не стало рта.

Первую-то, грубую, стружку с Ефрема сняла больница. А теперь только строгай.

Все так же, подмостясь подушками и подтянув колена, а при коленях держа закрытую книгу, Ефрем смотрел на пустую белую стенку. День был без просвета.

На койке против Ефрема с самого укола спал этот белорыжий курортник. Накрыли его потяжелей, от озноба.

На соседней койке Ахмаджан играл с Сибгатовым в шашки. Языки их мало сходились и разговаривали они друг с другом по-русски. Сибгатов сидел так, чтоб не кривить и не гнуть большую спину. Он еще был молодой, но на темени его волосы прореженные-прореженные.

А у Ефрема ни волосинки еще не упало, буйных бурых — чаща, не продерешься. И до сих пор была при нем вся сила на баб. А как бы уж — ни к чему.

Сколько Ефрем этих баб охобачивал — представить себе нельзя. Еще вначале вел им счет, женам — особо, потом не утруждался. Первая его жена была — Амина, белолицая татарка из Елабуги, чувствительная очень: кожа на лице тонкая, едва костяшками ее тронь — и кровь. И еще непокорливая — сама ж с девчонкой и ушла. С тех пор Ефрем позора не допускал и покидал баб всегда первый. Жизнь он вел перелетную, свободную, то вербовка, то договор, и семью за собой таскать было б ему несручно. Хозяюку он на всяком новом месте находил. А у других, встречных-поперечных, вольных и невольных и имена не всегда спрашивал, а только расплачивался по уговору. И смешались теперь в его памяти лица, повадки и обстоятельства и запомнилось только, если как-нибудь особенно. Так запомнил он Евдошку, инженерову жену, как во время войны на перроне станции Алма-Ата стояла она под его окном, задом виляла и просилась. Их ехал целый штат в Или, открывать новый участок, и провожали их многие из треста. Тут же и муж Евдошки, затруханнный, невдалеке стоял, кому-то чего-то доказывал. А паровоз первый раз дернул. «Ну! — крикнул Ефрем и вытянул руки. — Если любишь — полезай сюда, поехали!» И она уцепилась, вскарабкалась к нему в окно вагона на виду у треста и у мужа — и поехала пожить с ним две недельки. Вот это он запомнил — как втаскивал Евдошку в вагон.

И так что увидел Ефрем в бабах за всю жизнь это — привязанность. Добыть бабу — легко, а вот с рук скачать — трудно.

Хоть везде говорилось «равенство», и Ефрем не возражал, но нутром никогда он женщин за полных людей не считал — кроме первой своей женки Амины. И удивился бы он, если б другой мужик стал ему серьезно доказывать, что он плохо поступает с бабами.

А вот по этой чудной книге так получалось, что Ефрем же во всем и виноват.

Зажгли прежде времени свет.

Проснулся этот чистюля с желчью под челюстью, вылез лысой головенкой из-под одеяла и поскорей напялил очки, в которых выглядел профессором. Сразу всем объявил с радости: что укол перенес он ничего, думал, хуже будет. И нырнул в тумбочку за курятиной. Этим хилякам, Ефрем замечал, только курятину подавай. На барашку и ту говорят: «тяжелое мясо». На кого-нибудь другого хотел бы смотреть Ефрем, но надо было всем корпусом поворачиваться. А прямо смотреть — он видел только этого поносника, как тот глодает курячью косточку.

Поддуев закричал и осторожно повернул себя направо.

— Вот, — объявил он громко, — тут рассказ есть. Называется: «Чем люди живы?» — И усмехнулся. — Такой вопрос, кто ответит?.. чем люди живы?

Сибгатов и Ахмаджан подняли головы от шашек. Ахмаджан ответил уверенно весело, он выздоравливал:

— Довольствием. Продуктовым и вещевым. — До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и понятия, всю дисциплину и всю развязанность он принес из армии.

— Ну, еще кто? — хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была и для всех нелегкая. — Кто еще? Чем люди живы?

Старый Мурсалимов по-русски не понимал, хот, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришел делать ему укол мед-брат Тургун, студент, и ответил:

— Зарплатой, чем!

Прошка чернявый из угла наострил, как в магазинную витрину, даже рот приоткрыл, а ничего не высказал.

— Ну, ну, — требовал Ефрем.

Демка отложил свою книгу и хмурился над вопросом. Ту, что была у Ефрема, тоже в палату Демка принес, но читать ее у него не получалось: она говорила совсем не о том, как глухой собеседник отвечает тебе не на вопрос. Она расслабляла и все за-

путывала, когда нужен был совет к действию. Поэтому он не прочел «Чем люди живы?» и не знал ответа, ожидаемого Ефремом. Он готовил свой.

— Ну, пацан! — подбодрил Ефрем.

— Так, по-моему, — медленно выговаривал Демка, как учителю у доски, чтоб не ошибиться, и еще между словами додумывал. — Раньше всего — воздухом. Потом — водой. Потом — едой.

Так бы и Ефрем ответил прежде, если б его спросили. Еще б только добавил — спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула.

Он чмокнул.

— Ну, еще кто?

Прошка решил:

— Квалификацией.

Опять-таки верно, всю жизнь так думал и Ефрем.

А Сигбатов вздохнул и сказал, стесняясь:

— Родиной.

— Как это? — удивился Ефрем.

— Ну, родными местами... Чтоб жить, где родился.

— А-а-а... Ну, это не обязательно. Я с Камы молодым уехал и нипочем мне, есть она или нет. Река и река, не все ль равно.

— В родных местах, — тихо упорствовал Сигбатов, — и болезнь не привяжется. В родных местах все легче.

— Ладно. Еще кто?

— А что? А что? — отозвался приободренный Русанов. — Какой вопрос там?

Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окна были койки пусты и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа ее за концы.

Так и сидели они друг против друга, будто черт их назло посадил. Прищурился Ефрем.

— Вот так, профессор: чем люди живы?

Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже и от курицы почти не оторвался:

— А в этом и сомнения быть не может. Запомните, люди живут идейностью и общественными интересами.

И выкусил самый тот сладкий хрящик в суставе. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.

Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хляк вывернулся ловко. Уж где идейность — тут заткнись.

И раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел — понять — как же ответить правильно.

— А про что книга? Что пишут? — спросил Сибгатов.

— Да вот... — Поддуев прочел первые строки: «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было...»

Но читать вслух было трудно и длинно, и подмощенный подушками он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь еще раз охватить.

— В общем, сапожник запивал. Вот шел он пьяненький и подобрал замерзающего, Михайлу. Жена ругалась — куда, мол, еще дармоеда. А Михайла стал работать без разгиба и научился шить лучше самого сапожника. Раз, по зиме, приезжает к ним барин, дорогую кожу привозит и такой заказ: чтоб сапоги носились не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит — с себя отдаст. А Михайла странно как-то улыбнулся: там, за баринном, в углу видел что-то. Не успел барин уехать, Михайла эту кожу раскрыл и испортил: уже не сапоги вытяжные по ранту могли получиться, а только вроде тапочек. Сапожник за голову схватился: ты ж, мол, зарезал меня, что ты делаешь? А Михайла говорит: припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. А верно: еще в дороге барин окачурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог шить не надо, а поскорей давайте тапочки. На мертвого.

— Ч-черт его знает, чушь какая! — отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая «ч». — Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр воняет, что мораль не наша! И чем же там — люди живы?

Ефрем перестал рассказывать и перевел набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что люди живы не заботой о себе, а любовью к другим. Хилык же сказал: общественными интересами.

Оно как-то сходилось.

— Живы чем? — Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. — Мол, любовью...

— Лю-бо-вью!.. Не-ет, это не наша мораль! — потешались золотые очки. — Слушай, а кто это все написал?

— Чего? — промычал Поддуев. Угубили его куда-то от сути в сторону.

— Ну, написал это все — кто? Автор?.. Ну, там наверху на первой странице посмотри.

А что было в фамилии? Что она имела к сути — к их болез-

ням? К их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

Теперь он все же отлистнул первую страницу и прочел вслух:

— Тол-стой.

— Н-не может быть! — запротестовал Русанов. — Толстой? Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его и не печатали. «Хлеб», «Петр Первый». Он — трижды лауреат сталинской премии, да будет вам известно.

— Так это — не тот Толстой, — отозвался Демка из угла. — Это у нас Лев Толстой.

— Ах, не то-от? — растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. — Ах, это другой... Это который зеркало русской революции, рисовые котлетки?.. Так, сю-сюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренек, со злом надо бороться!

— И я так думаю, — глухо ответил Демка.

10

Только обошла она пальцем Демкину опухоль, да приобняла за плечи — и пошла дальше. Но там случилось что-то роковое. Демка почувствовал. Веточки его надежды отрубались.

Он не сразу это почувствовал — сперва были в палате обсуждения и проводы Прошки, потом он примерялся перебраться на его уже теперь счастливую койку к окну — там светлей читать и близко разговаривать с Костоготовым, а тут вошел новенький.

Это был загоревший молодой человек со смоляными опрятными волосами, чуть завойчатыми. Лет ему было, наверно, уже двадцать со многим. Он тащил книги.

— Привет, друзья! — объявил он с порога, и очень понравился Демке, так просто держался и смотрел искренне. — Куда мне?

А сам почему-то оглядел не койки, а стены.

— Вы — много читать будете? — спросил Демка.

— Все время!

Подумал Демка.

— По делу или так?

— По делу.

— Ну, ложитесь вон около окна, ладно. Сейчас вам постелят. А книги у вас о чем?

— Геология, браток, — ответил новенький.

И Демка прочел на одной: «Геохимические поиски рудных местонахождений».

— Ложитесь к окну, ладно. А болит что?

— Нога.

— И у меня нога.

Да, ногу одну новичок бережно переставлял, а фигура была — хоть на льду танцевать.

Новенькому постелили, и он, верно, как будто за тем и приехал: тут же разложил пять книг по подоконнику, а в шестую уткнулся, почитал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и его вызвали к врачам.

Демка тоже старался читать. Сперва стереометрию. Строил фигуры из карандашей. Но теоремы ему в голову не шли. А чертежи — отсеченные отрезки прямых, зазубристо обломанные плоскости — намекали Демке все на то же.

Тогда он взял книжку полегче — «Живая вода» какого-то Кожевникова, отхватившего сталинскую премию. Это был А. Кожевников, а то еще был и С. Кожевников, а то еще и В. Кожевников. Демке страшновато становилось, что писателей так много. В прошлом веке писателей было человек десять, и все великие. А в этом — тысячи, одну букву измени — и новый писатель. То был Сафронов, а то Сафонов, кажется, не один. Да и Сафронов — один ли? Прочсть их книги никто не может успеть. А какую прочтешь — так вроде бы и не читал. Писатели выныривали никому неизвестные, получали сталинские премии и канули навсегда. Премировалась почти каждая сколько-нибудь объемистая книга минувшего года. Премий каждый год выдавалось по сорок — по пятьдесят.

Так же путались в Демкиной голове и названия. Много писали о фильмах «Большая жизнь» и «Большая семья». Какой-то из этих фильмов был очень полезный, а какой-то очень вредный, но никак не мог Демка запомнить — какой же именно, тем более, что не видел их обоих. И понятия тоже путались, и тем больше, чем больше о них думал Демка, читая. Только он усвоил, что разбирать объективно — значит, видеть вещи, как они есть в жизни, и тут же читал, как ругали писательницу Панову, что она «стала на зыбкую засасывающую почву объективизма».

А все-таки надо было одолеть, понять и запомнить!

Читал Демка «Живую воду» и не мог разобрать: то ли книга такая нудь и муть, то ли это на душе у него.

В нем нарастало давление ущерб, тоска. Хотелось ему то ли

посоветоваться? То ли пожаловаться? А то просто человечески поговорить, чтоб даже его немножко пожалели.

Конечно, он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее: и того унижающее, кто жалеет, и того унижающее, кого жалеют.

А все-таки хотелось, чтобы пожалели.

Потому что вообще в жизни никто никогда Демку не жалел.

Здесь, в палате, было интересно послушать и поговорить, но не о том и не так, как хотелось сейчас. С мужчинами надо держать себя как мужчина.

Женщин в клинике было много, очень много, но Дема не решился бы переступить порог их большой шумной палаты. Если бы столько было собрано там здоровых женщин — занятно было бы, идя мимо, ненароком туда заглянуть и что-нибудь увидеть. Но перед таким гнездилищем больных женщин он отводил глаза, боясь увидеть что-нибудь. Болезнь их была завесой запрета, более сильного, чем простой стыд. Некоторые из этих женщин, встречавшиеся Деме то на лестнице, то в вестибюлях, были так опущены, подавлены, что плохо запахивали халаты, и ему приходилось видеть их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако эти случаи вызывали в нем ощущение не радости, а боли.

И всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не просто было здесь познакомиться.

Только тетя Стефа сама его заметила, стала расспрашивать, и он с ней подружился. Тетя Стефа была уже и мать, и бабушка, и уже с этими общими чертами бабушек — морщинами и улыбкой, снисходящей к слабостям. Становились они с тетей Стефой где-нибудь около верха лестницы и говорили подолгу. Никто никогда не слушал Дему так подробно и с таким участием, будто ей и ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказывать ей о себе, и даже о матери, такое, чего б он не открыл никому.

Двух лет был Демка, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, но справедливый, с ним вполне можно было бы жить, но мать — Стефе он этого слова не выговорил, а для себя давно и твердо заключил — скурвилась. Отчим бросил ее и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Демой комнату, тут они выпивали обязательно (и Деме навязывали пить, да он не принимал), и мужики оставались у нее разное: кто до полуночи, кто до утра. И разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Демке опостыло, что пойлом свиным казалось ему то, о чем его сверстники думали с задрогом.

Прошел так пятый класс и шестой, а в седьмом Демка ушел жить к школьному сторожу, старику. Два раза в день школа кормила Демку. Мать и не старалась его вернуть — сдыхалась и рада была.

Дема говорил о матери зло, не мог спокойно. Тетя Стефа выслушивала, головой кивала, и заключила странно:

— На белом свете все живут. Белый свет всем один.

С прошлого года Дема переехал в заводской поселок, где была вечерняя школа, ему дали общежитие. Работал Дема учеником токаря, потом получил второй разряд. Не очень хорошо у него шло, но наперекор материнскому шалопутству он водки не пил, песен не орал, а занимался. Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девятого.

И только в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Демку бутсой по голени. Демка и внимания не придал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбалывалась и разбалывалась. Он еще долго не показывал врачам. Потом грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете, в областной город, и потом сюда.

И почему же, спрашивал теперь Демка тетю Стефу, почему такая несправедливость в судьбе? Ведь есть же люди, которым так и выстилает, так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим все перекромсано. И говорят — от человека самого зависит его судьба. Ничего не от него.

— От Бога зависит, — смиряла тетя Стефа. — Богу все видно. Надо покориться, Демущка.

Так тем более, если от Бога, если Ему все видно — зачем же тогда на одного валить? Ведь надо ж распределять как-то...

Но что покориться надо — против этого спорить не приходилось. А если не покориться — так что другое делать?

Тетя Стефа была здешняя, ее дочери, сыновья и невестки часто приходили проведать ее и передать гостинцы. Гостинцы эти у тети Стефы не задерживались, она угощала соседок и саситарок, а, вызвав Дему из палаты, и ему совала яичко или пирожок.

Дема был всегда несъят, он не доедал всю жизнь. Из-за постоянных настороженных мыслей о еде голод его казался ему больше, чем на самом деле. Но все же обирать тетю Стефу он стеснялся, и если яичко брал, то пирожок пытался отвергнуть.

— Бери, браток! — махала она, — пирожок-то с мясом. Пока и есть его, пока мясоед.

— А что, потом не будет?

— Конечно, неужели не знаешь?

— И что ж после мясоеда?

— Масленица, что!

— Так еще лучше, тетя Стефа! Масленица-то еще лучше?

— Каждое своим хорошо. Лучше, хуже — а мяса нельзя.

— Ну, а масленица-то хоть не кончится?

— Как не кончится! В неделю пролетит.

— И что же потом будем делать? — весело спрашивал Дема, уже уминая домашний пахучий пирожок, каких в его доме никогда не пекли.

— Вот нехристи растут, ничего не знают. А потом — Великий пост.

— А зачем он сдался, Великий пост? — Он-то зачем? Пост, да еще Великий.

— А потому, Демушка, что брюхо натолчишь — сильно к земле клонит. Не всегда так, просветы тоже нужны.

— На кой они, просветы? — не мог этого Дема понять, потому что одни только просветы и знал.

— На то и просветы, чтобы просветлиться. Натощак-то свежей, не замечал разве?

— Нет, тетя Стефа, никогда не замечал.

С самого первого класса, еще и читать-писать не умел, а уже научен был Дема, и знал твердо и помнил ясно, что религия есть дурман, трижды реакционное учение, выгодное только мошенникам. Из-за религии кое-где трудящиеся и не могут освободиться от эксплуатации. А как с религией расстаются — так и свобода.

И сама тетя Стефа с ее смешным календарем, с ее Богом на каждом слове, с ее незаботной улыбкой даже в этой мрачной клинике и вот с этим пирожком была фигурой совершенно реакционной.

И тем не менее сейчас, в субботу после обеда, когда разошлись врачи, оставив больному свою думку, когда хмурый денек еще давал кой-какой свет в палаты, а в вестибюле и коридорах уже горели лампы, Дема ходил, прихрамывая, и всюду искал именно реакционную тетю Стефу, которая и посоветовать-то ему ничего дельного не могла, кроме как смириться.

А как бы не отняли. Как бы не отрезали. Как бы не пришлось отдать.

Отдать? — не отдать? Отдать — не отдать?..

Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче.

Но тети Стефы нигде в обычных местах не было. Зато в

нижнем коридоре, где он расширялся, образуя маленький вестибюльчик, который считался в клинике красным уголком, хотя там же стоял и стол нижней дежурной медсестры и ее шкаф с медикаментами, Дема увидел девушку, даже девочку в таком же застиранном сером халате, а сама — как из кинофильма; с желтыми волосами, каких не бывает, и еще из этих волос было что-то состроено легкое шевелящееся.

Дема еще вчера ее видел мельком в первый раз, и от этой желтой клумбы волос даже моргнул. Девушка показала ему такой красивой, что задержаться на ней взглядом он не посмел — отвел и прошел. Хотя по возрасту изо всей клиники она была ему ближе всех.

А сегодня утром он ее еще разок видел в спину. Даже в больничном халате она была как осочка, сразу узнаешь. И подрагивал снопик желтых волос.

Наверняка Дема ее сейчас не искал, потому что не мог бы решиться с ней познакомиться: он знал, что рот ему свяжет как тестом, он будет мычать что-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел ее — и в груди ёкнуло. И стараясь не хромать, стараясь ровней пройти, он свернул в красный уголок и стал перелистывать подшивку республиканской «Правды», прореженную больными на обертку и другие нужды.

Половину того стола, застеленного кумачом, занимал бронзированный бюст Сталина — крупнейшей головой и плечами, чем обычный человек. А с другой стороны стола стояла нянечка, тоже дородная, широкогубая, как бы рядом со Сталиным. По-субботному, не ожидая никакой гонки, она перед собой на столе расстелила газету, высыпала туда семечек и сочно лузгала их на ту же газету, сплевывая без помощи руки. Она, может, и подошла-то на минуту, но никак не могла отстать от семечек.

Репродуктор со стены хрипленько давал танцевальную музыку. Еще за маленьким столиком двое больных играли в шашки.

А девушка, как Дема видел уголком глаза, сидела на стуле у стенки просто так, ничего не делая, но сидела пряменькая, и одной рукой стягивала халат у шеи, где никогда не бывало застежек, если женщины сами не пришивали.

Сидел желтоволосый тающий нежный ангел, руками нельзя прикоснуться. А как славно было бы потолковать о чем-нибудь! Да и о ноге.

Сам на себя сердясь, Демка просматривал газеты. Еще спохватился он сейчас, что, бережа время, никакого не делал зачеса на

лбу, просто стригся под машинку. А теперь выглядел перед ней как болван.

И вдруг сам ангел сказал:

— Что ты робкий такой? Второй день ходишь — не подойдешь.

Дема вздрогнул, оглянулся. Да! — кому ж еще? Это ему говорили!

Хохолок или султанчик, как на цветке, качался на голове.

— Ты что — пуганый, да? Бери стул, волокн сюда, познакомимся.

— Я — не пуганый. — Но в голосе подвернулось что-то и помешало ему сказать звонко.

— Ну так тащи, мостись.

Он взял стул и вдвое стараясь не хромать, понес его к ней в одной руке, поставил у стенки рядом. И руку протянул.

— Дема.

— Ася, — вложила та свою мягенькую и выпнула.

Он сел, и оказалось совсем смешно — ровно рядышком сидят, как жених и невеста. Да и смотреть на нее плохо.

Приподнялся, переставил стул вольней.

— Ты что сидишь, ничего не делаешь? — спросил Дема.

— А зачем делать? Я делаю.

— А что ты делаешь?

— Музыку слушаю. Танцую мысленно. А ты, небось, не умеешь?

— Мысленно?

— Да хоть ногами!

Демка чмокнул отрицательно.

— Я сразу вижу, не протертый. Мы б с тобой тут покрутились, — огляделась Ася, — да негде. Да и что это за танцы? Просто так слушаю, потому что молчание меня всегда угнетает.

— А какие танцы хорошие? — с удовольствием разговаривал Демка. — Танго?

Ася вздохнула:

— Какое танго, это бабушки танцевали! Настоящий танец сейчас рок-н-ролл. У нас его еще не танцуют. В Москве танцуют. И то мастера.

Дема не все слова ее улавливал, а просто приятно было разговаривать и прямо на нее иметь право смотреть. Глаза у нее были странные — с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь — какие есть. А все равно приятные.

— Вот еще танец! — прицелкнула Ася. — Точно только не могу показать, сама не видела. А как же время проводишь? Песни поешь?

— Да не. Я песен не пою.

— Отчего, мы — поем. Когда молчание угнетает. Что ж ты делаешь? На аккордеоне?

— Не... — застыживался Демка. Никуда он против нее не годился. Не мог же он ей так прямо ляпнуть, что его разжигает общественная жизнь!..

Ася просто-таки недоумевала: вот интересный попался тип!

— А ты, может, в атлетике работаешь? Я, между прочим, в пятиборье немножко работаю. Я сто сорок сантиметров делаю, и тридцать и две десятых делаю.

— Я — не... — горько было Демке сознавать, какой он перед ней ничтожный. Вот умеют же люди создавать себе развязную жизнь. А Демка никогда не сумеет... — В футбол немножко...

И доигрался.

— Ну, хоть куришь? Пьешь? — еще с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно?

— Пиво, — вздохнул Демка. (Он и пива в рот не брал, но нельзя ж было до конца позориться.)

— О-о-ох! — простонала Ася, будто ей в подвздошье ударили. — Какие вы все еще, ядрена палка, маменькины сынки! Никакой спортивной чести! Вот и в школе у нас такие. Нас в сентябре в мужскую перевели — так директор себе одних прибитых оставил, да отличников. А всех лучших ребят в женскую спихнул.

Она не унижить его хотела, а жалела, но все ж он за прибитых обиделся.

— А ты в каком классе? — спросил он.

— В десятом.

— И кто ж вам такие прически разрешает?

— Где разрешают? Бо-о-рются!... Ну, и мы боремся!

Нет, она простодушно говорила, да и хоть бы и зубоскалила, хоть бы она Демку кулаками колотила, а хорошо, что разговорились.

Танцевальная музыка кончилась, и стал диктор выступать о борьбе народов против позорных парижских соглашений, опасных для Франции, что отдавали ее во власть Германии, но и для Германии невыносимых тем, что отдавали ее во власть Франции.

— А что ты вообще делаешь? — допытывалась Ася свое.

— Вообще — токарем работаю, — небрежно-достойно сказал Демка.

Но и токарь не поразил Асю.

— А сколько получаешь?

Демка очень уважал свою зарплату, потому что она была кровная и первая. Но сейчас почувствовал, что — не выговорить, сколько.

— Да чепуху, конечно, — выдавил он.

— Это все ерунда! — заявила Ася с твердым знанием. — Ты бы спортсменом лучше стал! Данные у тебя есть.

— Это уметь надо...

— Чего уметь! Да каждый может стать спортсменом! Только тренироваться много! А спорт как высоко оплачивается? — везут бесплатно, кормят за тридцать рублей в день, гостиницы! А еще премии! А сколько городов повидаешь!

— Ну, ты где была?

— В Ленинграде была, в Воронеже...

— Ленинград понравился?

— Ой, что ты! Пассаж! Гостинный двор! А специализированные — по чулкам отдельно, по сумочкам отдельно.

Ничего этого Демка не представлял, и стало ему завидно. Потому что, правда, может быть, все именно и было хорошо, о чем так смело судила эта девчонка, а захолустно было — во что так упирался он.

— Как же ты — спортсменка, а сюда попала?

Он не решился спросить, где именно у нее болит. Это могло быть стыдно.

— Да я — на три дня только, на исследование, — отмахнулась Ася. Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расходившийся ворот. — Халат напялили черт-те какой, стыдно надеть! Тут если неделю лежать — так с ума сойдешь... Ну, а ты за что попал?

— Я?... — Демка смолкнул. О ноге-то он и хотел поговорить, да рассудительно, а наскок его смутил. — У меня на ноге...

До сих пор — «у меня на ноге» были для него слова с большим и горьким значением. Но при Асиной легкости он уже начал сомневаться, так ли уж все это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь.

— И что говорят?

— Да вот видишь... Говорить — не говорят... А хотят отрезать...

Сказал — и с отменным лицом смотрел на светлое Асино.

— Да ты что!! — Ася хлопнула его по плечу как старого товарища. — Как это — ногу отрезать? Да они с ума сошли? Лечить не хотят! Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить, что ты? Жизнь дана для счастья!

Да, конечно, она опять была права! Какая жизнь с костылем? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней — а где б костыль держал? А как бы — культю?.. Да он и стула бы сам не поднес, — это б она ему подносила. Нет, без ноги — не жизнь.

Жизнь дана для счастья.

— И давно ты здесь?

— Да уж сколько? — Дема соображал. — Недели три.

— Ужас какой! — Ася повела плечами. — Вот скучища! Ни радио, ни аккордеона! И что там за разговорчики, в палате, воображаю!

И опять не захотелось Демке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха из Асиных губ. Они казались сейчас преувеличенными и даже картонными.

Усмехнувшись (а про себя он над этим не усмеялся), Демка сказал:

— Вот обсуждали, например, чем люди живы?

— Как это?

— Ну, зачем живут, что ли?

— Хо! — у Аси на все был ответ. — Нам тоже такое сочинение давали: «Для чего живет человек?» И план дает: о хлопкоробах, о доярках, о героях гражданской войны, подвиг Павла Корчагина и как ты к нему относишься, подвиг Матросова и как ты к нему относишься...

— А как относишься?

— Ну — как? Значит: повторил бы сам или нет. Обязательно требует. Мы пишем все — повторили бы, зачем портить отношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивает: а можно я напишу все же не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, «как думаю»! Я тебе такой кол закачу!.. Одна девчонка написала, вот потеха: «Я еще не знаю, люблю ли я свою родину или нет.» Та как заквакает: «Это — страшная мысль! Как ты можешь не любить?» — «Да, может, и люблю, но не знаю. Проверить надо.» — «Нечего и проверять! Ты с молоком матери должна была всосать и любовь к Родине! К следующему уроку все заново перепиши!» Вообще мы ее жабой зовем. Входит в класс — никогда не улыбнется. Ну да понятно: старая дева, личная жизнь не удалась, на нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких.

Ася обронила это уверенно, зная, какая мордочка чего стоит. Она, видно, не прошла никакой стадии болезни, болей, вымучивания, потери аппетита, она еще не потеряла свежести, румянца, она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на три дня на исследование.

— А хорошие преподаватели есть? — спросил Демка, чтоб только она не замолчала, говорила что-нибудь, а ему на нее поглядывать.

— Не, нету! Индюки надутые! Да вообще — школа!.. Говорить не хочется.

Ее веселое здоровье перехлестывалось и к Демке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уж совсем не стесненный, разнятый. Ему ни в чем не хотелось с ней спорить, во всем хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям. И с ногой бы он облегчился и согласился, если б нога не грызла и не напоминала, что он увязал с нею и еще сколько-то вытащит — по голень? по колено? или полбедрца? А из-за ноги и вопрос «чем люди живы?» — оставался для него из главных. И он спросил:

— Ну, а правда, как ты думаешь? Для чего... человек живет?

Нет, этой девчонке все было ясно! Она посмотрела на Демку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что он не разыгрывает, что он серьезно спрашивает:

— Как для чего? Для любви, конечно!

Для любви!.. «Для любви» и Толстой говорил, да в каком смысле? И учительница вон от них требовала «для любви» — да в каком смысле? Демка все-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать.

— Но ведь... — с захрипом сказал он (просто-то стало просто, а выговорить все же неудобно), — любовь — это ж... Это ж не вся жизнь. Это ж... иногда. С какого-то возраста. И до какого-то...

— А с какого? А с какого? — сердито допрашивала Ася, будто он ее оскорбил. — В нашем возрасте вся и сладость, а когда же еще? А что в жизни есть, кроме любви?

В поднятых бровках такая была уверенность, что ничего возразить нельзя — Демка и не возражал. Да ему послушать-то надо было, а не возражать.

Она повернулась к нему, наклонилась и, ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле:

— Это — наше всегда! и это — сегодня! А кто что язы-

ками мелет — это не наслушаешься, то ли будет, то ли нет. Любовь!! — и все!

Она с ним до того была проста, будто они уже сто вечеров толковали, толковали... И кажется, если бы не было тут этой санитарки с семечками, медсестры, двух шашкистов да шаркающих по коридору больных, — то хоть сейчас, тут, в этом закулке, в их самом лучшем возрасте она готова была помочь ему понять, чем люди живы.

И постоянно, даже во сне грызущая, только что грызшая Демкина нога забылась, и не было у него больной ноги. Демка смотрел в распахнувшийся Асин ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, — в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не испачканным — достойным перевесом всего дурного на земле.

— А ты — что? — полупшепотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. — А до сих пор не... Лопушок, ты еще не..?

Ударило Демку горячим в уши, в лицо, в лоб, будто его захватили на краже. За двадцать минут этой девчонкой сбитый со всего, в чем он укреплялся годами, с пересохшим горлом он, как пощаду выпрашивая, спросил:

— А ты?..

Как под халатом была у нее только сорочка, да грудь, да душа, так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:

— Фу, да я — с девятого класса!.. А одна у нас в восьмом забеременела! А одну на квартире поймали, где... за деньги, понимаешь? У нее уже своя сберкнижка была! А как открылось? — в дневнике забыла, а учительница нашла. А сейчас у нас половина девчонок!.. Да чем раньше, тем интересней! А чего откладывать? Атомный век!..

Наталья Горбаневская

* * *

В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.

Так во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.

Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой.

Алла Кторова

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

(О ЛЮБВИ)

Вам хочется чудес?
Религий? Но откуда
Вы взяли, что не чудо —
.
Хотя бы этот снег
С бегущими тенями,
Хотя бы — человек,
А именно — вы сами?

Новелла Матвеева

Изучение грамматики — такое же спокойное занятие, как вязание чулка, игра гамм на пианино или решение кроссворда.

Подыскивая недавно для диссертации по лексикологии фразеологические сочетания с глаголом «махен», я вспомнила, как однажды, в гостях, я наблюдала, как танцевали две маленькие девочки, дети только что прибывших эмигрантов, исколесивших полмира, и одна малютка сказала другой:

— Асейзе, девочка, please, мах комм са!

*

Вам бы хотелось, чтобы вашей матерью была полунегритянка, а отец — полуяпонец, четвертьеврей? Нет? А почему?

А мне бы хотелось.

*

Мы сейчас все делаем одинаковые прически.

Живем в одинаковых домах.

Думаем одинаково.

Захлебываясь прогрессом, даем нашим детям одинаковые имена.

И выходит так:

Я — Евгений, ты — Евгений,
Я — не гений, ты — не гений...

Все мы — дистиллированные личности.
Желтенько?
Наоборот.
Гляди вперед, Цивилизация!

*

Люди-цуцки хотят хоть в чем-нибудь взять реванш. Чаще всего они мстят природе в разговоре о собаках. Они говорят так: «Собака должна быть большой. Собака должна быть — собака!» Кошек они совсем не любят.

Я же, грешница, люблю подслушивать краями обоих своих бдительных ушей. И вот подслушала как-то около стойки в вашингтонском магазине «Сейфвей»:

— Что же тебе сегодня купить на обед, мой разбойник, моя маленькая куколка? Что же тебе сегодня купить покушаньки, мой крошечный бандит, моя малышка?

Огромный мужчина, старый закаленный Морской Волк нежно заглядывал себе за пазуху, откуда выглядывали очень большие торчащие ушки малюсенькой, но боевой собачки.

Потом Морской Волк сидел на солнышке около магазина, подкидывал собачку на руках и напевал ей какую-то радостную детскую песенку собственного изготовления:

Тули-гули-лапотули
Лапотусики мои
Ата-Тють-Тють-Тюти
Ата-Тють-Тють-Ти-и-...

Собачку зовут — Ушки.

Она в такт этой песенке подпрыгивает в руках Волка, вертит своей крохотной головкой, похожей на крымское яблочко, восторженно бьет кусочком хвостика и протягивает бархатную бежевую лапку — поиграть с пальцем своего хозяина. На Ушкиной мордочке — с микропаутинку — взрослые свирепые усички.

Брови скобочками — открытая и закрытая — черные бархотки.

Морской Волк нежно шепчет ей:

— Сегодня вечером мы с тобой будем кушать орешки.

И целует собачку Ушки в шелковый животик.

*

А у Риверсайд Драйв, в Нью-Йорке, в чудный поздне-весенний день рядом со мной сидит Миня Молчун, — тихий еврей. У него на плече — миниатюрный попугайчик, желто-голубенькая Полли. Миня поет:

Птичка Полли танцевала
На лужайке в ранний час,
Хвост налево, нос направо,
Это полька Карабас.

Птичка Полли разговаривает с Миней по-английски с русским акцентом.

И вечером Миня Молчун вписывает в фолиант, который он сочиняет всю жизнь, еще один комментарий к Библии:

«Ни одну собачку, ни одной мышки не пропускай, чтобы не поговорить. Если ты не видишь птички или веточки — ты проснулся сегодня напрасно. Если ты не хочешь подойти погладить Поню, которая гуляет на травке, — не спрашивай о смысле жизни».

*

Идея о том, что всё во вселенной целесообразно и гармонично, пришла какому-то русскому философу в тот прозаический момент, когда он проезжал на извозчике по Гороховой улице в Петербурге.

Вот хоть руку руби — ничего не помню я об этом весеннем дне: ни куда шла, ни откуда, ни зачем.

А помню только одно — в кошмарном настроении шла я в Москве по Большому Кисельному переулку, заглянула в одно окно на первом этаже старинного желтоватого дома и увидела там: сидит на огромном подоконнике в луче солнца мальчик и целует теплую кошечку...

И мое настроение после этого мгновенно изменилось. И жизнь тоже. И сердце вдруг стало нежным и сладким, как пирожное «эклер».

Я стала называть мать «мамочкой», а отца — «папиком», я стала за собой стелить постель и класть свой портфель на место, я попыталась начать говорить «благодарю вас» вместо «спасибо», и наконец я решила уступать место старухам в автобусе.

Я загрустила о слезе.

И не жалею об этом.

✱

Я все копаюсь в мелочах, но не замечаю того, что стало достоянием истории. Когда я решила писать о любви, мать рассвирепела. Она сказала, что можно писать заумное и воображать, что ты гений, но, между прочим, совсем неплохо знать, что такое авианосец. Вчера она робко спросила меня:

— Ты читала, что Софию Лорен ограбили?

Но что же делать, если меня совсем не интересуют ни ракеты, ни авианосцы, ни поездка на Луну, ни даже София Лорен, — а только Снежный Человек?

Этот нежный, этот нежный, этот Снежный Человек...

✱

В бодром настроении рококо я прохаживалась по огромному магазину Клайна, в Нью-Йорке, закупая ширпотреб. Впоследствии в этом же помещении в это же посещение у меня на третьем этаже украли сумку. Рыдая, я вдруг случайно левым глазом засекла, как что-то громоздкое справа от меня поразительно ловко сунуло маленькие детские ботиночки в объемистую сумку.

Громоздкое было женщиной, больше похожей на фельдфебеля в отставке.

Если бы я была ей чужой, она, наверно, поспешила бы задобрить меня, сказать что-нибудь медоточивое. Могла бы раскаться наконец. Но!

✱

Этот нежный, этот нежный, этот Снежный Человек... Он прищурил свои глазки, глазки лилипута, посмотрел на меня, как дозорный сквозь бойницу, и проворковал:

— Детка, я за тобой соскучилась.

Встреча со Снежным Человеком в Нью-Йорке, в магазине Клайна, была самым удивительным событием в моей жизни.

Именно в тот момент я прочно утвердилась в своем скромном мнении о том, что от судеб защиты нет.

И вот мы сидим со Снежным Человеком на Риверсайд Драйв, и он жалуется на то, что храпит он теперь не только лежа, но и сидя и даже стоя, что отцвели уже давно хризантемы и что «Жизнь прошла — ни за понюх табак».

*

Мисиз Роуз Слуцкер живет сейчас на берегу ривер. Ее муж давно умер, она живет одна. Мисиз Слуцкер почти забыла русский язык, только одно выражение она прекрасно помнит: «Бульбэ мит шмэтанэ», — и всегда щеголяет им, когда встречается в Одесском Землячестве знакомых мужа, которые до сих пор не пропускают ни одного концерта русской музыки и с чувством декламируют случайно подвернувшимся под руку советским туристам стихи поэтов-суриковцев («Вот моя деревня, вот мой дом родной»).

После долгих лет и усилий мисиз Слуцкер сделала доброе дело — выписала родную сестру из Москвы в Америку по кличу «Даешь воссоединение семей!»

И вот Снежный Человек прибыл на другой континент. Он приехал в Нью-Йорк, зашел в магазин Клайна и свалился на меня... который это раз?

Сейчас подсчитаем.

*

Снежный Человек свалился на меня до этого американского эпизода три раза в жизни.

Второй раз так: под колыбельное постукивание колес поезда Москва-Евпатория, лет двадцать тому назад, я сквозь сон услышала:

— Лёшечка, холера на тебе. Я слышала, что поезд будет стоять тут десять минут! Выйди уже на перрон. Они говорили — там йички, они говорят — там смэтана!

Когда поезд дернуло, что-то огромное чуть не слетело со второй полки прямо на пол и на крепкие руки рыжезубого парня, спавшего внизу напротив меня.

Парень быстренько, как магнитофон на неправильной скорости, застрекотал какие-то полуприличные ругательства.

— Что ты гавкаешь? — произнес кто-то совершенно бес-

страстным голосом и добавил плачуще, — чтоб тебе лихорадка швыряла, как машинист швыряет этот паровоз.

Голос был очень знакомым.

Что-то у меня ассоциировалось с ним морозное, с конфеткой и с самой собой, еще не умеющей говорить. С бабушкой, кормившей меня тошнотворным киселем, и с кем-то огромным, сидящим напротив бабушки. Это огромное принесло мне конфетку!

Голос продолжал в той же тональности:

— Это Поньри. Там, на перроне, жареные утки, там курицы. Там яички и сметана.

Потом на секунду все затихло, а я почувствовала, что кто-то всматривается в мое лицо. Не успела я открыть глаза, как раздался радостный вопль:

— Деточка! Ну неужели это опять ты?

Как я рада была опять услышать этот тембр голоса, эту интонацию, как я была счастлива опять услышать этот вопль!

Когда-то этот вопль спас нам жизнь.



Боюсь считать, сколько лет тому назад, когда я в эвакуации, в большом сибирском городе потеряла хлебные карточки, стояла среди толпы искренне соболезнующих и плакала, вдруг раздалось:

— Ой, кто это? Деточка!

Так свалился на меня Снежный Человек первый раз в моей сознательной жизни.

Вечером мы были с карточками.

Снежный Человек извлек их из второй юбки, находившейся под главной — синей с черными разводами, сшитой из байкового одеяла.

— Это настоящие? — испуганно спросила мать.

— Чтоб мне скончаться и быть в крематории, как да, — ответил Снежный Человек, моргнув глазом. — Что я тебе враг? Я вашей семье не враг, а самый приятный друг.

Снежный Человек осклабился (улыбочку эту надо было видеть. Та еще улыбочка!).

А после того, как она отбыла восвояси, обнаружилось, что в доме пропажа: исчез обрывок мочалки, вместе с драгоценностью — пустой железной баночкой из-под зубного порошка «Санит». С исчезновением мочалочки не стало никакой возможности мыть посуду...

— Мам, как же это? — возмущенно запищала я, — карточки хлебные она нам подарила, а мочалочку украла?

Бабушка изрекла: — Фрума Моисеевна в своем репертуаре.

.

А нижеследующее я предлагаю вместо биографии, то-есть вместо репертуара Фрумы Моисеевны.

✱

Вот фотография 1924-го года. Снежный Человек, т. е. Фрума Моисеевна Фиш, стоит гордо подперевши рукой бок и с бодрой надеждой смотрит вдаль. Ручка эта, могу смело сказать, не пойдет в сравнение ни с одной мужской ножкой.

Это Снежный Человек фотографировался в известные годы, после революции, в Елисаветграде. Там, на одной из улиц, существовал дом. Вывеска гласила: «Галантерейная торговля Ф. Фиш и Э. Рубинчик».

— Я тогда торговала платками. Это называлось *нэпман*.
Коротко и ясно.

А вот фотография 1959-го года: пальто со вставными квадратными плечами. Валенки — два прямоугольника. На голове — твердая мужская кепка в виде трапеции.

— Я ношу или платки или мужские кэпи, на меня женские шляпки не лезут.

Пальто, плечи, валенки и кепка, а внутри — Фрума Моисеевна Фиш, — всё это составляет куб.

К этому — бас профундо.

Дуб женщина. Вот она идет... Посмотрите-ка на белый пухлый снег, на ее сероватые следы на снегу...

— Знаешь, — сказала Маришка, дочь соседки-дуры Инны Валентиновны, — она похожа на Снежного Человека!

✱

Где это? Зимой в Венеции?

Нет.

Местный колорит таков: мы сидим в Москве у памятника первопечатнику Ивану Федорову, едим мороженое в вафельных стаканчиках и лицезреем Центральные Бани. На атласное черное одеяло-небо падают серебряные снежинки. Тихо летают во-

круг каменного Ивана Федорова. Мы сидим и смотрим в светлое небо, костюм Арлекина. Нам звезды кроткие сияют.

Мы разговариваем:

— Что значит «задержат»? И где ваша квалификация, если вы не в силах вынести из магазина самообслуживания лишние четыреста грамм сахара? Меня милиционер задержит? Кх-х-х. Полечка! Моя кошечка! Когда даже городской в старой России не мог меня поймать!

*

Это была правда. Ни один городской в Севастополе не мог поймать Фруму Фиш, которая дала бы двести очков фору Соньке Золотой Ручке.

*

Мой дедушка шил мужские брюки и шарахался от Фруминых предложений.

— Я взяла одну штуку батиста в магазине Альшванга, — тихо, строго конфиденциально сообщал ему Снежный Человек. — Я спрячу ее к вам на три дня. Только на три дня.

— Боюсь я.

— Но только же на три дня! Вы боитесь за три дня?

— Нет, не рискую...

— Несчастный. С позволения сказать... мужчина.

*

И сейчас Снежный Человек часто вспоминает Севастополь и моего дедушку.

— Он был мужеский портной, — говорит она. — Он был бручник. Он всегда выручал меня. Он помогал мне ховать мануфактуру. Ах-х. Он был такой хороший мужчина!

И Снежный Человек хохочет добрым басом.

*

А Елисаветградъ — город детства, самый лучший город на свете. И вспоминает Снежный Человек: сидит она на лавочке у папиного дома, и бегут мимо двое городских малахольных, Сёмка Черный и Сёмка Рыжий. И подсаживаются к ней черно-рыжие Сёмки с обеих сторон и читают стихи о любви.

Устало сердце, ноет грудь,
Позвольте, Фрума, отдохнуть.

— Это для любой женщины подходит. Потому что это красиво.

*

Кажется, — пора. Пора перейти к основной теме.

Итак: Лёнечка. Желто-кривозубый Лёнечка. Тот, который не хотел выходить на станции Поньри за жареными курицами? За яичками и сметаной? Как попал он к Снежному Человеку?

В паспорте у Лёнечки стоит «Щелкунов Леонид Степанович», но он величает Снежного Человека «мамашей», а та, плотно закрыв глазки от умиления, кличет его:

Лёшечкой или Лёнечкой.

Кровью своей.

Единственным светом в своем окошке.

А вот диалог:

Снежный Человек: Эшелон с вышним начальством нас не принимал. Идите, говорят, в теплушку, там проситесь.

Польди Бегунова: Неужели! Пустят они! Неужели!

Снежный Человек: Что там тогда творилось, ой, Боженька мой, что там только тогда творилось! Бомбы летят...

Польди Бегунова: Дети кричат, старухи бздят...

Снежный Человек: Она мне и говорит: гражданочка, не можете ли вы на минуточку досмотреть за ребенком? Ну вы мне скажите, разве можно ей отказать в таком положении? Ушла. И как ты ее видела, так и я ее потом видела.

*

Но вот однажды, в 1953 (что ли?) году я дежурила в детской комнате одного из отделений московской милиции. В комнате было двое детей. Девочку, пятилетнюю Майю Румянцеву, прохожие нашли на Дзержинке. Она подходила ко всем и спрашивала, где брат Вова. Майя сидела за столом и смотрела картинки в «Мурзилке». Вторым заключенным был какой-то мальчишка. Он крепко спал на диване.

Вдруг за тонкой перегородкой послышались два голоса. Это начальник отделения вошел в свой кабинет. С ним был еще кто-то.

— Ну я же вам говорю, товарищ начальник милиции! — слышался женский заискивающий голос, — ну я же вам говорю! Разве детское воровство — это воровство? И кто же из нас в детстве немножко не крал? Скажите на милость? Скажем, вы, например? Неужели так-таки вы никогда не тащили у своей мамы с под

ключа варенье или печенки из буфета? Га? Где же это видано, чтобы за это привлекать? Ну я вам говорю, товарищ начальник нашей советской милиции?

Начальник советской милиции, которому до черта осточертели маленькие правонарушители, что-то твердо откуда-то в свое оправдание.

— Ой-ой-еее-иии... товарищ начальник (я почувствовала, что с заискивающего голоса посыпался снег, а на лице заплывала улыбка)! Ну разве можно не оказать снисхождения?

— Мамаша! И не просите.

— Эххх, товарищ начальник, я ему такая же мама, как вы мне папа, — угодливой скороговоркой посыпалось в ответ.

И пробивной силы бас начал плавную сагу о том, что она никому не собирается забивать памороки, особенно товарищу начальнику. Что она — не мать Щелкунову Леониду и не отец, что куда она успела оглянуться, то та уже ушла. И что только метрики в кармане у мальчика оставила. И что, ах, эта проклятая война.

— Вы уже простите ему эти несчастные декорации, я заплачу. Разве я могу его этому учить? Я? Советский человек? А сам он не будет красть. Это, наверно, Сенька и Мотья Гуревичи, два брата, чтоб им дырку в сердце. Это они его научили.



Теперь начинается нечто совсем из другой оперы.

Спустя некоторое время после войны мы переехали дожидать эвакуацию в серый дом работниц Меланжевого комбината большого сибирского города, и нашлась у меня там быstroногая подружка, Людка Рогожкина. Она захотела первой из всех окрестно-соседских девчонок познакомиться со мной и для этого встала в шесть утра, чтоб караулить нашу дверь. Как только я вышла в коридор, она весело сказала:

— Айда сегодня ночью за коммерческим хлебом стоять?

Засечем знакомство с Людкой Рогожкиной и перейдем к истории по существу. Эта история начинается словами: «Жили-были дед да баба, у них была курочка ряба...»

Людка часто водила меня в «собственный дом супругов Дубских». Там жили ее дедушка и бабуся, а также двоюродная сестра, двадцатилетняя Надя Шляпина. Надя работала воспитательницей детского сада. Когда бы я ни появлялась в доме многопереживших супругов Дубских, Надя сидела на диване, играла на ги-

таре «Ни слова, о друг мой, ни вздоха» и плакала слезами, величиной с самаркандский бескосточковый виноград «шасла». Добиться, в чем дело, я не могла.

— Людк, ну что всё же с ней?

— А я и сама не знаю, скажу я тебе откровенно...

Людка всё всегда всем говорила отк-ро-венно.

*

Однажды, в 1952 году это было, в Москве, конечно, я присела на лавочку у памятника Ивану Федорову и сказала:

— Ну, Фрумочка Моисеевна, так как же вы, как (делая ударение на первом и последнем «как»)?

Снежный Человек сначала зашипел, а потом зашикал:

— Тшшшш... какая Фрума? Я теперь Груня. Груня Алексеевна.

Значит, однажды Груня Алексеевна пригласила меня к себе отведать «фишкартофлес». Я знала, что на пиру будут исключительно свои — только одна наша подруга, общая старушка Елена Борисовна (старое испытанное знакомство), и больше никого.

Но не успела я ввалиться по адресу «Т-тый пр. д. 7 кв. 5» и пристроиться, как отворилась дверь и в комнату вошла... Надя Шляпина, та двоюродная сестра Людки Рогожкиной, которая в далеком сибирском городе много лет назад, в собственном доме супругов Дубских плакала, играла на гитаре и пела «Ни слова, о друг мой, ни вздоха, мы будем с тобой молчаливы».

Вам будет странно, а мне было вдвойне удивительно застать Надю Шляпину у Груни Алексеевны Фиш.

*

Заглянем в историю.

В самый конец войны в восемнадцатилетнюю Надю влюбился молодой человек. Снежный Человек потом говорил, что просто уму непостижимо, как это мог получиться такой результат, потому что на вид молодой человек был «настоящий желтельмен» и ходил в мягкой шляпе. В мягкой шляпе Жельтельмен долго амурничал с Надей, пока она не уехала с ним из родного города.

Через несколько дней она сидела одна у железной дороги в разрушенном Житомире. Вместо здания вокзала были только две доски, и в них дырка — касса. Оттуда выглядывал нос кассира, свидетель многих ужасов войны.

В наличии не было ни устойчивой стены, ни потолка — самого необходимого для того, чтобы повеситься. Тем не менее вокруг вокзала — самого людного места в городе — был устроен базар. Бойко по этому базару шмыгали люди, жившие тут же, в кобурах, построенных из какой-то трухи. На Надю никто не обращал внимания. Она уже хотела плестись по шпалам обратно на свою далекую родину, как вдруг над ней раздался дикий вопль: — Ой, Божа мой! Товарищ руководительница!

Как нам, в эвакуации, когда я потеряла карточки, так и Наде в Житомире этот вопль спас жизнь.

*

Что танцуешь, Катеньке?
Кадриль-польке, папеньке.
Где училась, Катеньке?
У в танцклассе, папеньке.

В 3-ем детском саду сибирского города (где мы доживали эвакуацию в доме работниц Меланжевого комбината) Фруму Моисеевну Фиц выбрали в члены родительского комитета как самую сознательную мамашу. Это было в 1943-ем году, в самый разгар войны.

Она занималась с детьми художественной самодеятельностью.

— Что танцуешь, Катеньке? — задавал Снежный Человек вопрос первому рыженькому танцору, своему сыну Лёнечке, и тот твердо отвечал:

— Кадриль-польке, папеньке!

— Где училась, Катеньке? — грозно вопрошала Фрума Моисеевна далее, и дети хором восторженно визжали:

— У в танцклассе, папеньке!

Танцевальный номер «Что танцуешь, Катеньке?» получил на вечере худсамодеятельности первую премию — письмо с фронта. Премию получила средняя группа руководительницы Нади Шляпиной. У нее был воспитанником маленький Лёнечка.

*

Настоящий Жельгельмен ободрал Надю в Житомире до нитки. Он унес чемодан, и в нем не только все деньги и вещи, но даже и Надин паспорт.

Но вот вопль: «Товарищ руководительница!»

Надя поселилась в железном шалаше, где проживала Ф. М. Фиш, полгода умирая от нервного потрясения, а Снежный Человек целыми днями поил ее какими-то отварами и летал по базару, похищая, что удастся и придется, а также выменивая. А вечерами Наде рассказывались притчи относительно воровства и делался выговор за то, что она не догадалась закопать паспорт и деньги, украденные Жельгельменом, в лифчик. И что теперь Надя осталась такой же легкомысленной и ходит по городу расхристанная, хотя она, Фрума, вчера выменяла ей на базаре пуговицу застегивать ватник под горло.

Через год всё утряслось, и Надя Шляпина вернулась в свой родной город, в дом престарелых супругов Дубских, но дома всё время плакала, пела и играла, играла на гитаре и пела (тогда-то Людка Рогожкина и познакомила меня с ней). А потом... а потом, много лет спустя, вдруг как-то я получила письмо от Людки (в то время тоненькая Людка могла бы уже сойти за борца полусреднего веса), и Людка, знатная ткачиха Меланжевого комбината, писала мне в письме, что Надька вышла «взамуж». Да, Надя действительно вышла замуж за хорошего человека в твердой кепке, лейтенанта советской армии, Женю Хворова.

Сейчас Надя работает зав. детским садом, выдвинута в директорши и имеет баловную дочь Ларису, десяти лет.

Бывая в Москве, она всегда останавливается у Снежного Человека.

*

— Деточка, что ты такая смутная?

— Т-а-а-к...

— Да, кругом сумно...

Груня Алексеевна Фиш по моей просьбе плетет что-то интересное из своей жизни.

— Так как же вы, Грунечка Алексеевна, очутились в Москве? — перебиваю я ее. — Из Житомира да в Москву без блата? Что-то непонятно. В 48-ом году? Как это? Тогда в Москве прописаться не было никакой возможности, я очень хорошо помню.

— Глума ты, деточка, настоящая глума, — радостно хихикает Груня, — что это за праздничное любопытство? Да, было трудно прописаться, а я прописалась. Я хитрая. Наша нация вся очень хитрая.



Груня Алексеевна всегда начинала свои рассказы как-то с середины.

Ее истории всегда были кроссвордами-загадкой, они были шарадами, они были ребусами. Надо было самой догадаться, что к чему, где начало, где конец и прочее.

— И вот его не было дома, а был зять, и он мне сказал, что надо идти куда-то на какую-то улицу в Главуправление, а куда идти, на какую улицу, я сейчас уже не помню. Забыла, — тяжело вздыхает Груня Алексеевна. — И что тут можно помнить, когда название этой улицы кончалось на «ке», а в Москве все улицы, холера на ихние кишки, кончаются на «ке». Покров-ке, Маросей-ке, Лубян-ке, Встретин-ке...

Оказалось, что Главное Управление Милиции тогда помещалось на Большой Якиманке.

— И вот он мне говорить...

— Кто?

— Начальник.

— Какой начальник?

— Начальник, начальник, на этой Якиманке: гражданочка, теперь никого. Никого не прописываем безо всяких исключений.

В ответ на эти непреклонные слова Снежный Человек выложил товарищу начальнику, Татаринуву Владимиру Ивановичу, следующее:

— Да, товарищ начальник. Вы всё говорите правильно. Никому нельзя. Ни вам нельзя. Ни вашему отцу нельзя. Ни даже самому Господу Богу нельзя сейчас тут прописаться. А мне можно. Меня вы таки да как пропишите в Москве!



Если вы живете в Москве, то садитесь себе сейчас на автобус и поезжайте по направлению к Динамо. На одной из остановок кондукторша плавно заблеет:

— Динамо-о-о... Динамо-о-о... Кому сходить? К-о-о-му сходить? Следующая остановка — Еврейско кладбище, следующая остановка Еврейск-о-о кладбище-е-е-...

Осталось только название, но самого еврейского кладбища давно уже больше там нет. А когда-то на нем можно было найти

могилу с надписью «Григорий Лазаревич Фиш — николаевский солдат».

Много лет назад здесь был похоронен дедушка Снежного Человека. Он был усатый и носатый, пробовал жить во всех городах Российской империи и умер в Москве.

Он тоже был еврей, но без материалистических наклонностей.

*

— Да, да, да, — говорила Груня Алексеевна. — Это святая правда. Мой дедушка был сначала кантонист, а потом николаевский солдат, и не только ему самому, но и всем его детям, и внукам, и правнукам, и их детям на веки веков было выдано самим царем разрешение жить по всей Российской империи, около Москвы, даже в самой Москве, даже где хочешь по беспроцентной норме!

Шутки — шутками. Но!

После нескольких приступов гомерического смеха... не знаю, что случилось. Но Снежного Человека прописали в Москве. И в 1948 году, в Т-ом п-е в подвальчике обосновался Снежный Человек, чтобы делать гешефты, и рыжим ребенком Ленечкой на куске бумаги еле-еле было выведено чернильным карандашом объявление: «КРАСИЛЬНЯ ФИШЕЙ А ТАКЖЕ САПОЖНИЦКАЯ».

*

Но как же и почему Снежный Человек очутился в Америке? Потому что вздыхать ей уже надоело.

Часто, часто были слышны вздохи:

— Ой, о-о-й, холера на него, да чтобы только холерья на его кишки... Чтоб его черви ели... чтоб ему в гробе сдохнуть...

*

Недавно я была на Ай стрит, в похоронном бюро «Ойфебах и Бах». Хоронили очень древнюю старушку, мрачную чародейку, ядовитую красавицу тетю Пашу.

.....

Интересно, где сейчас хранятся архивы? Архивы о тех, которых когда-то через Эллис Айленд пропускали в Америку? Тогда

среди документов этих пропускаемых иммигрантов — хранилось дело.

В 1922 году с борта парохода, прибывшего из Европы, сошли очередные иммигранты. Рыжие, черные и белые, — каждый из них быстро или медленно, но прилипал к группе своих родственников. И вдруг из какого-то угла раздался дикий визг.

Официальные лица подошли. И им... представилась следующая картина: на коленях стояло трое — красивый мужчина, похожий на Авессалома, ультратолстая женщина и маленький мальчик Арончик (на фотографии он — играющий на скрипке). Перед ними, возвышаясь, стояла женщина, рвущая на себе волосы из всех мест, из которых возможно (ибо каждый рвет, откуда может), а рядом с ней муж, робко.

Это была ядовитая красавица тетя Паша.

— Господин полицейский! — вопила она. — Это же совсем не они, ой, чтоб я так здорова была и не здорова, как это не они!

А вот что мы узнаем, прочтя отрывок из письма сопатого Юды мужу ядовитой красавицы тети Паши.

«Милый дорогой племенник племенница и племенники я вам послал письмо я думаю вы хорошо поймете что я вам писал чтобы вы не посылали деньги и визу на имя вашего брата а как будто на дядю когда мы уехали из Константинополя мы играли каждой минутой нашей жизни как Бог даст увидимся я так вам все расскажу».

Этой древнегреческой трагедии предшествовало вот что: шифскарту отец Снежного Человека должен был получить из Америки от тети Паши. А фамилия у папы Снежного Человека и у его родного брата, сопатого Юды, была одинаковая — ФИШ! А сопатый Юда был хи-и-трый (эта нация вся хитрая): он перехватил письмо, написал тете Паше вышеприведенное послание и обманул ее. А также обманул он младшую сестру Груни Алексеены, мисиз Роуз Слуцкер, которая еще раньше была с мужем написана из Елисаветграда.

Итак, двоюродный брат Снежного Человека, сопатый Юда, получил шифскарты дяди и двоюродной сестры и прикатил с же-

ной Феней и сыном Арончиком в один прекрасный день на Эллис Айленд — в Америку. Хитрый сопатый Юда. Евреи все хитрые.

*

Однако ядовитая красавица тетя Паша пожалела обманщика Юду, его жену Феню и сына Арончика, играющего на скрипке. Она согласилась, чтобы они остались в Америке под честное слово, что отработают за билет, купят другую шифскарту и пошлют ее Фруме и ее отцу.

Но однажды эти вероломные иудеи (ибо все иудеи вероломны!) нарушили честное слово и исчезли куда-то навсегда.

Но вот сейчас я живу в новом крупнопанельном доме на Америкен Авеню. И за стеной у меня кто-то каждый день играет на скрипке.

Не Бадди-Тэдди ли это, внук обманщика Юды?

Не Бобби-Билли ли это, сын Арончика?

Нет, внук обманщика Юды и сын Арончика не хочет играть на скрипке, он хочет играть в бейсбол.

*

Однако...

Недолго мучилась старушка
В злодейских опытных руках!

Риточки и Мишеньки не было дома, только один Ленечка, рыжезубый. Он сидел и ел «картофель хрустящий», — из целлофанового пакетика. Зашла Польди Бегунова, спросила, что мать пишет. А Ленечка ощерился своими зелеными зубами и заявил, что мать (тут он чуть не подавился) ...завтра приезжает. Опять к нам, в Москву, сидеть на своей лавочке, на своем любимом месте у памятника Ивану Федорову и смотреть на Центральные Бани.

Ух ты!

Как доехали, Миликтриса свет Петровна?

И здесь начинается кошмар-комедия.



Есть хорошее правило в советской печати: не обманывать читателя, не вводить его в заблуждение. Не разводить никакой фабрики дезинформации. Поэтому по радио, по телевидению, в газетах всегда тщательно и по многу раз проверяют версии о всяких загадочных явлениях.

Недавно в статье о Непале писали, что сейчас XX век властно входит в эту далекую гималайскую страну, и что теперь окончательно развеян миф о Снежном Человеке.

И чтоб проверить это, журнал Совет Лайф посылает своего корреспондента Валерия Синельщикова взять интервью у Груни Алексеевны Фиш.

И вот интервью:

.....

И сказал Снежный Человек:

— Хоть вся мишпуха меня уговаривала остаться, но я решила ехать обратно.

И спросил Валерий Синельщиков:

— Почему же вы захотели ехать обратно?

И ответил Снежный Человек (это были исторические слова):

— Когда старухи ходят в детских штанишках и носят голубые шляпки с розовыми цветами, — так это жизнь?

И прибавил:

— Когда собак держат, как людей, и водят в таких нашейниках, как бузы на молодых девушках, — так стоит жить?

Валерий Синельщиков согласно кивает головой.

— Нет, нет, товарищ писатель, говорю вам — никудашняя страна.

Это уже ближе к делу. Валерий Синельщиков начал прятать ушами.

— Подумаешь, говорю, у вас автоматы! У нас в Эс Эс Эсере тоже сейчас почти всё машинальное.

— А то нет? (это со стороны корреспондента.)

— И что же это за жизнь, когда каждый вечер ты даже боишься выйти на улицу немножко шпацирен?

А?.. Это уже и совсем по существу. Запись в блокнот гласит: «По утверждению Груни Алексеевны Фиш, с правительством США нам трудно найти общий язык, а люди, как утверждает тов. Фиш, — везде одинаковы».

Так. Ура.

Интервью течет дальше:

— Ну, а насчет докторов? Ди цейн доктер стоит так дорого, что один раз там я сама себе вырвала два зуба. Правда, на другой день... э... э... я ослепла и оглохла на два уха. Нет, уж лучше мучиться в нашей районной поликлинике, а слепнуть и глухнуть я не согласна.

(Еще бы. «Аппараты для глухих у нас тяжелее кирпича!» — комментарий про себя корреспондента журнала Совет Лайф).

Груня Алексеевна продолжает:

— Затем, что же это за страна, вы скажите мне на милость, где весь товар лежит на стойке открытой, а приказчики спят, просто приходи в магазин и бери, что твоей душе угодно?

— Да ну...

— Чтоб я так здорова была, как это правда, — спокойно констатирует Снежный Человек. — Но вот я вам скажу, товарищ из газеты. Я взяла один раз часы-будильник. Конечно, так, поиграться. Немножко пошутить. Я взяла их и пошла себе осторожно к двери, и вдруг... холера их знает или что... они вдруг начали звонить... И тут...

И вот в первый раз в жизни, в этом Снежный Человек клянется:

— Меня начало трусить.

И случилось в этот момент то, что навсегда убило интерес и уважение Снежного Человека к Америке.

— Хоть бы для порядку, для порядку меня бы отвели в участок! Так нет. Они мне сказали, что я взяла часы нечаянно, и отпустили. Они — мне — сами — ска-за-ли, про меня, что я нечаянно задумалась и не заметила сама, как взяла, и отпустили... И это приличная страна?

Валерий Синельщиков реагирует по-своему.

*

Есть еще пункты.

Пункт первый — музыка.

Однажды она просто подышать вышла. Она сидела на скамейке. И рядом сидел к ней спиной вполоборота какой-то молодой человек. И вдруг прямо из его зада полились божественные звуки Баха (у молодого человека в заднем кармане брюк был транзистор).

— Ну, — подумала я, — объявляет Груня Алексеевна, — если тут у людей играет такая красивая музыка с того места, которое нужно совсем для другого, то я подумала, что мне пора уже домой.

Пункт второй.

Она не доверяла расфасованным продуктам из магазина и всё перевешивала дома на бабушкином безмене, привезенном ей в подарок в Москву из Елисаветграда.

После того как продукты были заново перевешаны, она отправлялась на берег «ривер». Там она сидела остаток дня и плакала от ностальгии (она клянется, что только этим она и занималась).

Пункт третий — негры.

На вопрос о том, насколько сильно, по ее мнению, страдают в Америке негры, Снежный Человек подумал, а потом бойко отбарабанил:

— Негры негры что мне они я против них ничего не имею но чтоб они пропали. Вот однажды я сижу подходит один черный как уголь я говорю уходите себе а он стоит и не уходит что мне негры пусть живут но чтоб они сгорели.

— Так, так, — быстренько бормочет Валерий Синельщиков, — об этом — в другой раз. Это мы пока опустим.

*

Но!

О обольстительные приманки мира сего! О баночки! О крышечки! На вопрос Валерия Синельщикова, не может ли Снежный Человек отметить хоть какие-нибудь светлые мгновения своей поездки в США, чтоб не мазать всё черной краской, ну там что-нибудь по поводу благосостояния, которое мы догоняем, или из сферы тяги узников капитала к изучению русского языка, Снежный Человек сладенько зажмурил глазки и сказал с хитростью шайтана:

— Как положительный момент я могу отметить баночки.

— Ка...? Какие баночки?

— Стеклянные баночки. Они все у них там с крышечками и завинчиваются. У нас, чтобы достать такую баночку даже за большие деньги, — нужно задушиться...

И до сих пор Снежный Человек не знает, как это ей в голову пришел такой умный ответ.



А вот что случилось, когда статья была напечатана и Синельщиков Валерий зашел к Фишам, чтобы поставить могорыч с гонорара.

Снежный Человек хлопнул рюмочку винца, маленькую совсем рюмашечку, и вдруг — цап! Фигурально выражаясь, конечно, но — цап Валерия по уху, да так, что у последнего под печенкой икнуло. Вдруг вероломно, полносочным голосом Снежный Человек прогудел:

— Ах... Если хотите знать, совсем уже не так плохо там, как я говорила. Совсем даже хорошо там тому, кто привык. А мне было просто скучно в этом пыльном Нью-Йорке, я забыла там, какое небо. Я соскучилась за Ленечкой, за Мишенькой, за нашими людьми. Я гордилась с своей родиной, я скучала за ней...

Снежный Человек хотел громко зарыдать, но вдруг передумал и только густо всхлипнул.



Я как малокровная тетушка, которая сидит и сочиняет рассказ про любовь. Хоть я и знаю, что это совсем лишнее для повествования и что мне это совсем не к лицу, но никак не уходит у меня из-под рук маленькая деталь, без которой рассказ — не рассказ, а повесть — не повесть, а сплошная кошмар-комедия.

Деталь — вот она.

На Риверсайд Драйв, страдая от ностальгии, Снежный Человек рассказывал мне, что его собираются здесь женить.

— Так уже обязательно и любовь! — скромно хрипел он, — любовь это просто минутка блаженства. А в наши годы нужен только компаньон!

Груню Алексеевну познакомили там. Так... С одним. 83 года. Что ж. По крайней мере будет кому стакан воды подать на старости лет. У него были свои три комнаты и две пенсии. Всё бы ничего. Но он носил шапочку с помпоном, вязаную, такую, как Снежный Человек достал по блату Мишеньке в магазине «Мальш» на улице Горького, где все продавщицы предельно любезны.

— Что же, говорю, за свои 83 года вы не в силах были себе в Америке, в такой приличной стране, новую шапочку справить?

Шапочка — это было первое разочарование. Второе.

Несмотря на то, что в условия договора входила подача стакану воды, расписываться он не желал.

— И тогда я начала гореть, я начала кипеть, я закипела, я закипела, — горестно всхлипнула Груня Алексеевна, — нет уж, говорю, я не хочу жить гражданским браком. Я не хочу конфузнуть свою репутацию и позорить свою родину. И всё. И до свиданья.

Снежный Человек, повествуя, глядел куда-то поверх моей головы.

— Ну и что? И расстались?

— Так и расстались. Сделали рукотрясение, и до свиданья.

— И спасибо не сказали?

— Что я — свинья? Нет, спасибо я сказала. Только не на словах. Сколько ты здесь живешь и не знаешь? Тут ничего на словах не говорят. Тут всё пишут на готовых картах.

— И вы написали?

— И я написала. Я купила готовую карту и написала: «Благодарю вас за такое внимание эккамне».

— Ну и правильно. Чего с ним делать-то в восемьдесят три?

— Нет, это как раз ничего. Когда настоящих мужчин нет, то и петух — Сулейман-паша.

Не могу постигнуть, откуда у Снежного Человека такие глуповатые познания в древневосточной мудрости.

*

И вот они опять все здесь, на своих местах. Местный колорит тот же. Памятник Ивану Федорову. Красильня Фишей, а также сапожничья. В красильне заправляет Ленечка, на оранжевой коже — желтые веснушки. Матросик-братишка в полосатой тельняшке. При случае — бескозырочка. (Однако, если хочет, может. Может быть галантным!) Работать ему помогает его мать, Снежный Человек — Груня Алексеевна. Она помогает сыну Ленечке соком и кровью своих нервов.

Из Америки она привезла не только веселое словечко «О кей!». Она привезла контрабандой золотые доллары. Она купила красивенькое пальтишко для Мишеньки и итальянские штiblеты для Ленечки. Это правда. Она их купила. А вот легкий махеровый шарф для Риточки и штаны с кружевными прошивами

для своей ближайшей подруги Польди Бегуновой — она собственноручно благовестила в пустом отделении магазина Клайна. Я сама это видела. Я стояла на посту.

И я спрашиваю осторожно:

— Грунечка Алексевна, а интересно, сколько вам может быть лет?

— Тебе правда интересно? — клохчет Снежный Человек, — сколько есть — все мои.

Вот вам мудрый ответ.

*

У меня затерло со временем, но вот я у красильни Фиша опять. И слышу знакомый голос:

— Детке! Почему к нам так редко навещаешься?

Красильня работает вовсю. И дело поставлено на широкую ногу. У Ленечки, у этого джентльмена удачи, ничего в руках не завязнет. Он — частник. Выходной себе берет, когда хочет, и тогда целый день смотрит телевизор. Снежный же Человек, чтобы не обвинили ее Лешечку в тунеядстве, вешает в этот день на дверь записку: «Сегодня мастерская не работает. Мастеру болит поясница».

Работают Фиши медленно, не торопясь. Ленечка сидит, поет. Этот живописный Дзанни остроумен, язывает. В слове «мебель» он нарочно не произносит первого звука «м», а на вопрос «как живете-можете?» отвечает: «Живем хорошо, а можем — плохо». И Снежный Человек в восторге, он смеется.

Разговоры между матерью и сыном ведутся на любые темы. Например, Ленечка спрашивает:

— Мамаш, а если бы вы получили образование, то какую профессию бы выбрали?

Задай этот вопрос корреспондент журнала Совет Лайф, Снежный Человек заявил бы:

— Я пошла бы в торговую сеть, чтобы стать квалифицированным работником прилавка.

А Ленечке, родной крови, она выражает свою мысль так:

— Я бы желала делать гешефты. Я бы желала торговать. Ленечка подначивает.

— Чем же? — он деловито постукивает по чужим каблукам. — Ветром? Или вареньями яйцами? Прибыльное дело. В первых, бульон остается, а во-вторых, — вы при деле.

Снежный Человек свирепо раздувает ноздри.

Ленечка величает Снежного Человека на «вы» и «мамаша», — ему кто-то донес, что у него когда-то была своя родная мать...

*

А вот сам рыжезубый, несмотря на гешефты, хочет учиться, он недоволен своим семиклассным образованием и годами, потерянными во флоте.

— Мамаш? Хочу поступить на заочный в техникум советской торговли, — сыплет он. — Ваше лапотно-сермяжное мнение? Ваше твердокаменное?

Лапотно-сермяжное, а также твердокаменное мнение Снежного Человека заключается в том, что у Ленечки мало болячек в жизни, поэтому он хочет учиться.

— Не напиток ты, ненажратый?

— Дело не в напиток и ненажратый, а в том, что диплома нет, и опять я дурак.

Лично меня косность Снежного Человека просто поражает. Она хочет, чтобы Риточка, ее сноха, чертежница, сдеградировала до пеленок.

Формулировочка ее проста: зачем Риточка училась и тратила свои молодые годы на то, чтобы писать эти уроки? Не лучше было бы за два-три месяца выучиться на лифчишницу или шляпошницу?

Мотивировочка ее такова: ей самой трудно целый день одной вертеться дома, «как пук в рассоле». И лучше бы Риточка ей в помощь также сидела дома и варила бы варенье в медном тазу. И лучше бы таз загорел, а Снежный Человек ворчал бы и ругался, что вместо того, чтобы помыть таз просто с мылом, — Риточка шкрабала его с ножом!

Всё это лучше, чем ходить в эти проклятые учреждения, где такая духота и угар от папирос, что можно задохнуться от углекислого газа.

*

А вообще-то говоря, я пришла в красильню Фишей по делу. Через три дня у подруги день рождения — и я отдала Груне Алексеевне выкрасить заграничную шерсть. День рождения уже на носу, — а шерсть где? И спускаясь по лесенке в заведение Фишей, я угрожающим голосом скандирую:

— Последний день, о Груня Алексевна!

Пятистопный ямб ее страшно пугает, но подлец Лёшечка обнажает свои рыжие, все тридцать два и в тон мне отвечает:

Еще денек, о милое создание,
Еще один, и шерсть свою возьмешь!

*

Преамбула такова: хотя немалое значение в отношениях Снежного Человека и ее внука Мишеньки занимает дулечка с маслом, Груня Алексевна обожает ребенка. Подумайте, ему только три годика, но он уже вам покажет и как коровка мычит, и как кукушка кукует. Ему еще только три годика, но он уже пробует ножкой играть в этот проклятый «хунбол» и разбил окно у соседки.

Одним словом, Мишенька полный человек.

Теперь пошла мода — снимать в кино уродливейших детей, особенно мальчишек. Найдут рыжего, веснушки с ноготь, а то косяго, либо вислоухого — и довольны. Чем больше дитя соплями дергает, тем типичнее. Все это называется «Вот это да! Настоящий мальчишка!»

У Мишеньки, у этой паскуды, остренькие клычки и распротекшая рыжая физиономия из типа «мордочек». Не будем мелочны — маложивописный ребенок.

Короче говоря, Мишенька не подарок.

Не могу скрыть, что отношения Снежного Человека и Польди не статичны. Это не только любовь и дружба, не чисто голубиные отношения. И вот у Польки как-то раз выскочило, что пацаненок никудашний, просто страм до невозможности, а не парень.

Что же?

Снежный Человек расвирепел, как носорог, и чуть не вцепился Польди в рожу.

— Поля, не ваше дело, Поля, идите к черту.

*

Знаете ли вы, что у греческих статуй два профиля? Один веселый, другой — грустный. Какое отношение этот факт имеет к Снежному Человеку? Очень просто: сегодня он возмущается тем, что Мишенька имеет напротив бабушки такой рот, а завтра он помчится в магазин «Овощи-Фрукты» — покупать этому босяку яблочко, самое хорошее, самое импортное, типа «люкс» плод субтропиков. Вытянет шею, когда ее очередь подходит, жалобно высморкается и умильным голоском тихо проворкует:

— Э-э-э-э... товарищ продавщица, будьте настолько велико-

душны, отпустите мне, пожалуйста, во-о-о-о-н то яблочко, сбоку, мне для ребенка в больницу!

— Вам всегда для ребят в больницу, — бойко огрызается продащица.

И очередь хором вторит ей:

— Им всегда всё самое лучшее подавай!

Меня Мишенька пока признает. Когда я прихожу в гости к Снежному Человеку кушать форшмак, этот чертенок подходит ко мне, глядит на пустую пачку из-под «Казбека» и спрашивает:

— Тота, а у вас эта каробачка слободная?

— Ах ты, бес бедовый. Ну, а если слободная, так что?

— А вы тогда дайте мне ее насовсем...

Внук Мишенька отнимает у Снежного Человека решительно все время. Она с ним «сидит». Мишенька играет с маленькой Володенькой Шахвердовым или с другими Сереженьками и Наташками со двора, и Груня Алексеевна не имеет ничего против присматривать несколько часов в день за чужими детенышами. Родители-соседи с восторгом пользуются этим:

— Приходи к нам, тетя Лошадь,
Нашу детку покачать.

Все младенцы со двора обожают Груню Алексеевну Фиш.

.....

Вот я прихожу утром. Потом вламывается Полька. Снежный Человек завтракает: пьет недопитый Риточкой чай и поглощает оставленный Мишенькой недоеденный кусочек «игруши». А Мишенька сидит под кроватью и нахально пищит:

— Груня Алек-се-е-на-а-а! С улицы Ба-се-и-на-а-а!

— Чтоб ты околел, — монотонно уже шестой раз гудит Груня, — как ты можешь иметь напротив бабушки такой рот? Вылезай из-под кровати или я тебя убью.

Снежный Человек и Польди Бегунова сидят и задушевно пьют чай вприкуску.

Снежный Человек заявляет Польди, что от Мишеньки она наживет себе сужение коронарных сосудов, болезнь, о которой она вчера слышала в поликлинике.

Польди возмущена поведением несознательного. Она лезет под кровать и сурово заявляет:

— Ты кого же это дражнишь? А? Баушку? Рбдную баушку?

— Да, бабушку, — твердо отвечает маленький лаццароне.

— Полечка, не волнуйся, — кротко перебивает ее Груня Алексеевна и, обращаясь к Мишеньке, прибавляет: — Вот погоди, вечером придет твой папа. Он тебе даст духу!

— Дуля с маслом, дуличка с маслом, — радостно вопит Мишенька.

— Вот увидишь, Поля, — скулит Груня Алексеевна, — в конце концов, я слягу от этого ребенка.

И она пытается уронить горячую слезу.

— А вот, когда я была маленькая, то я такой поганкой не была, — продолжает она, — вот был у нас в Елисаветграде сторож. А мне тоже было три года, как Мишеньке. И вот тот сторож сажал меня на ручки и спрашивал: «Кого больше всех любишь?», и я ему отвечала: «Сторожа Петра». Обнимала его и целовала, а он мне за это давал шоколадку...

Отдать Мишеньку в детский садик, чтобы он не крутился под ногами? Да ни за что! Какой садик, когда в нем каждую третью неделю этот проклятый карантин?

*

Родители к возвращению сына относятся так:

Риточка (шустрая молодка) сетует на то, что ребенок не получает никакого эстетического воспитания. Тут Груня Алексеевна гневается. Она не понимает, — а зачем она тогда тратит свое время и учит Мишеньку дакламировать «Дора-Дора-помидора, мы вчера поймали вора?»

Лёнечка не принимает в воспитании сына никакого участия: когда Мишенька настырно донимает его (что такое — хорошо и что такое — плохо?), он начинает петь: «Тетя Хая, убберите ребенка!» Если Груня Алексеевна не обращает на эти антисемитские слова никакого внимания, он строго говорит сыну:

— Ну, ну, керя, скачи дальше, а то как поддам под кобчик!

Тут уж Снежный Человек не выдерживает. Он отводит ребенка за ручку в другой конец комнаты, нежно просит его не колупать в носике и, обращаясь к Лёнечке, зверски вопрошает:

— Холера, что такое кобчик? Какер несчастный! Не может поиграться и с ребенком. Ты что здесь, квартирант? И что тебя холера мордуить, один Бог знает...

...И вот сейчас, во время моего визита, Груня Алексеевна обещает, что она не порежет на куски Мишеньку (чтобы не повышать своего внутрикровяного давления), если только он вылезет из-под кровати и сдастся добровольно.

Мишенька соглашается, но за материальное и моральное возмещение.

— А ты купишь мне на Первое мая уди-уди? А ты скажешь папе, что я был хороший мальчик?

Ах, как хочется Груне Алексеевне выбраться с этой квартиры и переехать на новую, отдельную, в крупноблочном доме! (Тшшшш... обещают *вне очереди* и скоро!) Там будет так тепло, что ей не придется надевать с утра шерстяную кофту с кандалами из английских булавок на груди. Там, на своей собственной кухне, она будет варить цимес или чолнд и напевать умирительные еврейские мелодии из национального фольклора. А в остальное время, там, в индивидуальной кухне, она будет заниматься с Польди Бегуновой празднословием и пусторечием.

Мы и остальные допотопные кумушки сидим у памятника Ивану Федорову и смотрим в атласный черный небосвод, распевая эту холуйскую песенку, этот лакейский романсик «Подмосковные вечера». Вот Польди и Груня Алексеевна. На лице Груни торчит улыбка, пятки вместе — носки врозь. У Польди ноги — две бутылки. С тех пор как она начала делать модную прическу «Хала» под Брижжит Бардо, на нее нет никаких сил смотреть.

Груня Алексеевна долго собиралась с духом и наконец спросила:

— Полечка, а ты когда-нибудь раньше уже так носила волос? Нет? Ну так я тебе скажу — делай опять коски.

Она помолчала немного, а потом робко докряхтела:

— Ну, ну... что я тебе за указчица? Каждое гамно тебе будет указывать...

Я с ними разговариваю, «дакаю» да «нукаю», а больше слушаю дружеский их пересвист.

— Поля! — говорит Груня Алексеевна, — здесь мы не прогадаем. Я ей говорю: этой женщине еще далеко до пенсии. Она еще поработает. Пятновыводчицей у Курского вокзала. Поленька, ты так наживешься, как во всей своей жизни ты не наживалась.

— О, Груня Алексеевна! — поднимаю я голос. — Что это за слова? И что вы подразумеваете под выражением «наживешься»? Вы где живете? В какой стране? При каком строе? В нашем

обществе во всякой работе должно быть не какое-то малосознательное «наживешься», а творческое горение! Не так ли? — пижонствую я.

Снежный Человек хладнокровно окатывает меня мышинным взглядом крошечных глазок.

— Я не понимаю этих слов, — раздельно рубит она, — какое такое горение должно быть в работе? Га? В работе должны быть деньги!

И логически развивает свою мысль далее:

— А в прежнее время, Поля, я бы открыла тебе мастерскую, в каком-нибудь новом районе города, ну на Ленинском проспекте или где много приличных мужчин. И лучший художник написал бы на вывеске: «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЖЕСКИХ КЭПИ. МАДАМЪ ПОЛИНЪ».

Потом вдруг на минуту забывается, хочет захрапеть, но просыпается и хладнокровно заявляет:

— Побегу завтра в ГУМ к открытию, и если не достану там венгерскую кофеварку ФОЦ — я застрелюсь.

— Правда што, — поддакивает Полька.

Сама Груня по возрасту уже давно должна быть на пенсии, но по какой-то неясной причине пенсию эту она не получает.

— Пензию тебе схлопотать надо, Груня Алексевна, — печально говорит Полька.

— Я потеряла справки о стаже.

— В Архип тебе надо идти, там всем находят.

Но в том-то и цирк, что в Архип Снежному Человеку идти почему-то противопоказано. До тех пор, пока там работает какая-то Нюнька Тейтельбаум.

Разговор кончается. Груня Алексевна насыщенным вздохом сдвигает нас с места, мужская кепка сползает на кончик носа. Она поднимается со скамьи.

— Надо к воскресенью что-либо испечь, — бормочет она. — Чтоб они околели, как теперь из-за этих проклятых праздников я нигде не могу достать Мишеньке пару яичек. Горемыкалка я несчастная.

*

Да, приближается Пасха. Русская и еврейская в этом году почти что совпадают. На первый день я побегу с Полькой, с боем, несмотря на ругань отца и матери, в церковь на Ордынку, где мы услышим, как хор откатных старух умилительно исполняет мой любимый трогательный напев «Иже Херувимы» и что-то еще,

связанное с Серафимами. А потом Груня Алексеевна пригласит меня с собой в синагогу в Петроверигском, где я с удивлением буду сверху глазеть на неизвестно откуда взявшихся древних стариков в ермолках, распевающих хвалу Аврааму, Исааку и Иакову...

*

На знаменитой картине Сальвадора Дали «Таинство тайной вечери» изображен пловучий сегмент двенадцатигранной фигуры, который пифагорейцы провозгласили символом вселенной. Надо всем этим две руки — любовь, обнимающая мир.

Подходят ли к моей Груне Алексеевне какие-либо измерительные эпитеты?

Плиз, не подбирайте эпитетов.

Этот нежный, этот нежный, этот Снежный Человек...

Хотите видеть, как высокие чувства могут переплетаться с ветхими страстями? Вот, полюбуйте: в Америке, когда ей было скучно, она подходила к ближайшей школе смотреть на детей. Казалось бы — кому, как не ей уготовано судьбой коснуться небес кончиком пальца? А вот сейчас она сидит с Риточкой и Инкой Валентиновной и разглагольствует с ними о покупке сервиза на 12 персон (!персон!) так, как будто переворачивает страницу истории.

*

А вот — ой-ой-ой — что это?

Из-за угла показывается компания: Ленечка-рыжезубый, Риточка, его жена (размахивает серьгами), и младенец Мишенька. Они все вместе были в закрытом бассейне у Кропоткинской, в закрытом бассейне они купались.

Снежный Человек умиленно моргает и говорит Польди:

— Вон наши цветы идут!

А Польди еще более умиленно ей отвечает:

— Вон твои майские розы идут...

Вот вам квинтэссенция правды о Снежном Человеке.

.

Я вижу, — вы устали. О кей! Сделаем перерыв.

— Прис-лу-га!

— ?

— Дайте чаю.

К О Н Е Ц

Крутой маршрут

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. СЕДЬМОЙ ВАГОН

Надпись «спецоборудование» на вагоне я заметила еще во время посадки. На минуту подумала, что это осталось от прежнего рейса. Ничего удивительного. Товарный вагон. Ну, и везли в нем какое-то оборудование.

Только после того, как начальник конвоя объявил режим во время этапа, я засомневалась. Догадались и другие.

— Да это мы и есть спецоборудование, — сказала Таня Станковская, карабкаясь на третьи нары, — иначе почему бы такое: на ходу поезда разговаривай, сколько хочешь, а на остановках — полное молчание, никаких шумов? Даже за шёпот — карцер...

Со спины Таня казалась проказливым юрким подростком. Движения, которыми она прилаживала в изголовье тюремный бушлат, тоже были бесшабашными, мальчишескими. И голос казался молодым, когда она кричала сверху:

— Обратите внимание! Добровольно на верхотуру залезла! Сознательность! Мои-то кости и здесь не испарятся... А у кого еще мясо осталось, тем здесь не выжить...

Никто не ответил Тане. Никто из нас ее почти не слышал. В седьмом вагоне толкалось, металось и непрерывно говорило человеческое месиво: 76 женщин в одинаковых грязно-серых одеяниях со странными коричневыми полосами вдоль и поперек кофт и юбок.

Ни одна из нас ни на минуту не закрывала рта. Слушателей в этом разговоре не было. Не было и темы беседы. Каждая гово-

Продолжение. См. начало «Грани» №№ 64, 65 и 66 — Ред.

© Copyright for Russian 1967 „Grani“ — Possev-Verlag, Frankfurt/Main

© World Copyright 1967 by Arnoldo Mondadori Editore S. p. A.

рила о своем с того самого момента, как товарный состав тронулся от Ярославля. Некоторые, еще не устроившись на нарах, уже начинали читать стихи, петь, рассказывать. Каждая упивалась звуками своего голоса. Ведь впервые за два года мы были окружены себе подобными. В Ярославской тюрьме всесоюзного значения одиночницы промолчали 730 дней. В течение двух лет употреблялось только шесть слов в день. Подъем. Кипяток. Прогулка. Оправа. Обед. Отбой.

Меня втиснуло общим потоком на нижние нары. Пошевелиться пока не было никакой возможности. Но натренированным чутьем зека я сразу поняла — удача! Место было отличное. Во-первых, боковое, так что толкать будут только с одной стороны. Во-вторых, близко к высокому зарешеченному окошку, из которого тонкой струйкой просачивается воздух! Замолчав на минутку, я подтянулась на локтях кверху и сделала глубокий вздох. Да, так и есть. Пахло полями. За окном сиял июль. Знойный июль тридцать девятого года.

Я снова заговорила вслух. Так же, как все. Хриплым срывающимся голосом, перебивая кого-то, рассказывая обо всем сразу и делая над собой усилие, чтобы услышать и понять других.

Отдельные фразы мучительно толкались в идущей кругом голове.

— Конечно, счастье! Куда угодно, только бы из этого каменного мешка.

Десять лет тюремного заключения и пять поражения. Здесь у всех так...

— Неужели вы вчерашнюю баланду ели? Я не брала... Тошнота такая...

— Не слышали? Говорят, среди нас чапаевская пулеметчица Анка?

— Кормить-то они думают?

Таня Станковская свесила с верхних нар немислимо тонкие, без икр, ноги в тюремных бахилах 43-й номер. И я с удивлением увидела, что если смотреть на Таню спереди, — она не подросток, а старуха. Растрепанные седые патлы, костлявое лицо, обтянутое сухой, шелушащейся кожей. Сколько ей может быть? Тридцать пять? Неужели?

— Удивляетесь! Это натуральных, собственных. Да два ярославских считайте за двадцать. Итого — пятьдесят пять. Да год следственный — уж минимум за десятку... Вот полных 65 и насчитывается... Посторонись-ка, слезу подышать маленько...

Таня садится прямо на пол у дверей вагона. Двери закрыты

неплотно. В широкую, с ладонь, щель пробивается ветерок. Но подышать не удается. Колеса замедляют свой речитатив. Конвоиры торопливо бегут вдоль вагона, захлопывая двери до отказа, подвинчивая большой деревянный болт. Его снимают только тогда, когда конвоирам надо войти внутрь вагона.

— Стоянка! Стоянка!

И сразу — мертвая тишина. Точно вагону воткнули в горло клин. Возбужденные, растрепанные, потные, еще боящиеся поверить в перемену судьбы, мы замолкаем, все семьдесят шесть, вкладывая всё недосказанное во взгляды. Только самые нетерпеливые пытаются продолжить неоконченный разговор при помощи жестов, мимики, даже тюремной стеной азбуки.

Когда через полчаса поезд трогается снова, оказывается, что у всех нас осели голоса. Все говорят сиплым шёпотом.

— Ларингит! Острый ларингит! — смеясь, ставит диагноз врач Муса Любинская, доктор Муська, одна из самых молодых в вагоне. Ее торчащие черные косички многим запомнились еще с Бутырок.

Только мощная уральская девушка Фиса Коркодинова, из Нижне-Тагильского горкома комсомола, пронесла через эту словесную бурю неповрежденным свой металлический контральт с басовыми нотками.

Теперь Фисин голос солировал, как труба на фоне разбредającego самодеятельного оркестра. Может быть, поэтому и выбрали старостой вагона именно ее, Фису, оценив и голос, и степенные ухватки, и сочный уральский говорок, и румянец, не слинявший даже в Ярославке.

Из Фисиных рачительных рук все получили по глиняной кружке без ручки, — вроде детской песочницы, по жестяной миске и щербатой деревянной ложке.

— Что уж это, курева-то не разрешили? В Ярославке уж на что зверствовали, и то разрешение было, — говорит Надя Королева, сорокалетняя работница из Ленинграда, почти такая же исхудавшая, как Таня Станковская, но гладко причесанная, подтянутая.

Со всех сторон пускаются разъяснять. Это из-за бумаги. Ведь на развернутых мундштуках от папирос можно писать, а они больше всего боятся, как бы не стали писать и в окошко бросать записки.

Я так и не научилась курить в тюрьме. И я потихоньку радуюсь этому запрету. Чем же тогда дышать, если бы здесь еще и курили!

Появился начальник конвоя. Все с радостью отмечаем, как он не похож на ярославских надзирателей, произносящих шесть слов в сутки, шагающих по ковровым дорожкам бесшумными шагами тигров. Начальник конвоя — это добрый молодец, Соловей-разбойник, с лихо закрученным чубом, с ядреными шуточками.

— Староста седьмого вагона! Встань передо мной, как лист перед травой! — громыкает он, зыряка озорными глазами по нарам, и крикает от удовольствия, когда большая, дородная Фиса вырастает перед ним.

— Староста вас слуша-а-ат, гражданин начальник, — по-уральски басит Фиса.

Он обстоятельно и со вкусом излагает еще раз все запреты.

— На остановках, стало быть, молчок. Вроде померли... За разговор на стоянках — карцер... Книг в этапе, стало быть, не положено. Поди начитались в одиночках за два-то года? Теперь будя! Ну, а насчет баек запрету нет. Байки одна одной сказывать можете. Насчет пиш-ш-ши, ну, пишца, известно, этапная. В одиночках вам два раза горячий харч шел. Здесь будет один раз. Хлеба — та же пайка, а вот с водой, бабоньки, беда! Вода у нас дефицит. Так что воды положено вам в день по кружке. На всё. Хошь пей, хошь лей, хошь мойся-полоскайся!

—... Почему вы позволили ему так смотреть на себя? — раздается вслед уходящему Соловью гортанный голос.

Тамара Варазшвили, царица Тамара, еще выше откидывает гордую голову. Она сидит с тридцать пятого. Дочь крупного грузинского литературоведа, обвиненного в национализме. И хотя в этом весь ее криминал, но Тамара считает себя «настоящей политической» и сдержанно презирует «набор тридцать седьмого». За неумение самостоятельно мыслить. За бытовые интонации в разговорах с охраной. За то, что просят, а не предъявляют требования.

— А как он смотрел-то? — удивляется Фиса.

— Откровенно оценивающими глазами. Разве вы не почувствовали? И как вы смогли улыбнуться в ответ. Это унижительно.

Семьдесят шесть хриплых голосов одновременно врываются в разговор. И опять все спорят сразу, не слушая никого. Потом побеждает голос Поли Швырковой.

— ...И среди них есть люди... А что загляделся-то на Фису, так что же тут такого? Она — девка видная, а по мне и слава Богу, что загляделся. Людей, стало быть, в нас видит. Женщин. Да пусть хоть баб! Не лучше разве бабонькой быть, чем номером, а?

От этих слов в седьмом вагоне сразу воцаряется тишина. Сырое дыхание склепа проносится над вчерашними заживо погребенными. Над теми, кто только сегодня утром получил обратно свои имена и фамилии, взамен номеров.

— Умница, Поля! Кем угодно, только не номером!

— Вы уж не обижайтесь... Может, чего не так сказала... Вы тут все ученые, партийные, а я ведь на воле-то простой поварихой была. За родство попала. И не знаю, чего это следовательно мне такую статью интеллигентную дал «КРТД»...

...Несмотря ни на что, кончается своим чередом и этот день. В зарешеченном окошке тоненьким коромыслом повис молодой месяц. Еще два-три раза взвивается вихрь общего разговора и наконец затихает совсем.

Я укладываюсь на своих нарах. Ничего. В такой духоте лучше на голых досках. Тем более, что из тюремного бушлата можно сделать почти роскошное изголовье.

— Э-эх! — доносится сверху голос Тани Станковской, — если б я была царицей, всю жизнь спала бы на нижних нарах!

Рядом со мной — известная украинская писательница, автор исторических романов.

— Давайте познакомимся, — шепчет она мне, — я — писательница, Зинаида Тулуб. А вы?

Я отвечаю не сразу. Мне надо собрать мысли, прежде чем безошибочно ответить на этот вопрос. До сегодняшнего утра я была «камера три, северная сторона». Называю себя и свою профессию. Педагог, журналист.

С удивлением вслушиваюсь в свои слова. Точно о ком-то другом. Педагог? Журналист? Не соврала ли? Сонька-уголовница из Бутырской пересылки говорила в таких случаях: «Это было давно и неправда».

Сон уже почти обволок меня, унося возбуждение этого немислимого дня. Как вдруг... Что это?.. Что-то мохнатое мазнуло меня по лицу. Карцер? Крыса? Уж не во сне ли был красный товарный вагон номер семь с размашистой надписью «спецоборудование»?

— Простите, товарищ, я задела вас косой...

Да, у Зинаиды Тулуб наружность дворянской дамы прошлого века. У нее чудесная (спутанная и грязная) коса.

— Вы испугались, товарищ? Вы плачете?

Нет, я не плачу, только сердце почему-то исходит сладкой болью. Хочется, чтобы соседка еще и еще раз повторила это сло-

во. Товарищ... Есть же на свете такие слова! И так обращаются ко мне — «Камера три, северная сторона!» Значит, не то. Поезд идет на Восток. В лагерь. Каторга! Какая благодать.

2. РАЗНЫЕ ЗВЕРИ В БОЖЬЕМ ЗВЕРИНЦЕ

Это — немецкая поговорка, она всё время приходит в голову при знакомстве с окружающими попутчиками, путешественниками из седьмого вагона. Кого только не было тут?

Утро в вагоне началось рано. Навыки, привитые Ярославкой, сильнее любой усталости. И когда Таня Станковская села на своей верхотуре, стукнувшись седой всклокоченной головой о потолок, и гаркнула «Подъем!», никто уже не спал.

Возбуждение немного улеглось. Протрезвевшими глазами оглядывались вокруг. Кое-кто узнавал лица, запомнившиеся в Бутырках. Нашлись даже знакомые по воле. Староста Фиса Коркодинова уже раздала хлеб с довесками, аккуратно приколотыми щепочками к основной пайке. Начинал на глазах складываться этапный быт.

В первый день, потрясенные самим фактом движения, мы не замечали, с какой медлительностью ползет поезд. Сейчас почувствовали.

Точно замедленная киносъемка.

Вроде кибитка с декабристами продвигается...

Вагон скрипел, выворачивая душу. Колеса тарახтели и, главное, шли не ритмично, толчками, от которых проливалась драгоценная влага в кружках. Останавливались то и дело на станциях, полустанках, а часто и в чистом поле, чтобы конвой мог пройти по вагонам для раздачи пищи, для проверки. Вчерашние одиночницы с радостью восстанавливали памятные по Бутыркам приемы организации камерной жизни. Дежурные, дневальные. Очередь на глядение в крошечное зарешеченное окошечко.

Ане Шиловой, агроному из Воронежской области, эту очередь многие уступали. Пусть хлебá посмотрит. Знаете, как у нее сердце по хлебáм истосковалось!

Аня из тех, кто неладно скроен, да крепко шит, — небольшая, коренастая, сгусток энергии, щурит глаза, снисходительно улыбается.

— Ох, уж хлеба здешние! Посмотрели бы, что сейчас под Воронежом у нас в это-то время!

А Таня Крупеник, милая Таня, — живое воплощение Украины, карие очи, черные брови, — восклицает:

— Подумать только, Анька! Скоро работать будем! Мы с тобой тут самые счастливые — агрономы. Только нам да еще, может, доктору Муське дадут работать по специальности. Гуманитариям-то нашим хуже... Им дадут не по специальности...

— Откуда у вас такие точные сведения? Никто из нас еще в лагере не был...

Это Софья Андреевна Лотте — ленинградский научный работник, историк Запада. Она выделяется на общем серо-коричневом фоне своим внешним видом. Единственная из 76, она не в «ежовской формочке». На ней обтрепанная, но собственная, ленинградская вязаная кофточка, черная юбка. Из-за этого к ней относятся настороженно, хотя, казалось бы, что можно подозревать при одиночном режиме?

— Да, конечно, — подхватывает реплику Лотте Нина Гвиниашвили, художница Тбилисского театра им. Руставели, — конечно, никто из нас еще там не был... И вполне возможно, что вам, товарищ Лотте, приготовлена та-а кафедра. Будете белым медведям читать историю чартистского движения в Англии.

Нина Гвиниашвили подает ей с полки реплику не менее охотно, чем Таня Станковская. Но Танины словечки все густо приправлены горечью, у Нины же всё получается так вкусно, легко, по-французски, что никто не сердится, даже те, на кого направлена шуточка. Может быть, потому, что Таня — худая, лохматая, с обтянутыми шелушащейся кожей скулами, а Нина — изящная, с достоинством увядающая интересная женщина. Особенно глаза, ярко-зеленые, светятся в сумерках.

Гуманитарии, которые действительно составляют большую часть населения седьмого вагона, уже сгрудились вокруг Зинаиды Тулуб, читающей свои стихи.

На лице ее почти экстатическое выражение. Читает она старомодно, с пафосом. Она вообще старомодна. Неуловимый привкус старого дореволюционного литературного салона ощущается во всей ее манере читать, говорить. В быту она беспомощна и часто смешна.

— У нее на воле двое осталось, — говорит Таня Станковская — муж Шурик и кот Лирик. Она просила начальника Ярославки со своего лицевого счета 50 рублей коту Лирику перевести. Он без мяса не может...

В одиночке Зинаиде Тулуб было легче. Она мечтала, сочи-

няла стихи. В карцер ее не сажали ни разу. Может, из уважения к литературе? А здесь ее затолкали. Да и по возрасту она старше нас, в основном, тридцатилетних.

Но стихи объединяют всех. Сидя в Ярославке, я часто думала, будто это только я искала и находила в поэзии выход из замкнувшегося круга моей жизни. Ведь только ко мне в подземный карцер приходил Александр Блок. Только я одна твердила на одиночной прогулке в такт шагам: «Я хочу лишь одной отравы — только пить и пить стихи»... А это оказалось высокомерным заблуждением, — думала я теперь, слушая поток стихов, своих и чужих. Умелых и наивных. Лирических и злых.

Аня Шилова, отложив вопрос об урожае, усевшись с ногами на вторые нары, повествовала теперь этапницам о печальном Демоне — духе изгнания. Впервые в жизни она выучила наизусть такую длинную поэму. И теперь в каждое слово вкладывала не только оттенки смысла, но и гордость своей соприкосновенностью с таким произведением.

Поля Швыркова, повариха, и та начиталась в одиночке Некрасова и тоже стала рифмовать «Боль души» и «В той тиши». Вообще Поля, несмотря на всё, была несколько польщена тем, что следователь дал ей такую интеллигентную статью КРТД, ввел ее в такое общество, где все партийные и с высшим образованием. Еще в Бутырьках Поля включила в свой лексикон много новых слов, из которых больше всего ей полюбили слово «ситуация».

— Ну, как, Женя, ситуация-то? После Ежова, я думаю, благоприятствует нам?

Но вот в чтение стихов включается моя соседка по одиночке, мой «стенкор» Оля Орловская, и я почти замираю, слушая, что она читает:

...Сталин, солнце мое золотое!
Если б даже ждала меня смерть,
Я хочу лепестком на дороге,
На дороге страны умереть...

Это — заявление в стихах на имя Сталина.

Оля передала его недавно в руки Коршунидзе, начальника Ярославки...

Таня Станковская спрашивает невероятно скрипучим голосом:

— И что же Коршунидзе? Умилился? Прослезился?

Поднимается страшный шум. Вопреки всему, из 76 путешественниц седьмого вагона, по крайней мере 20 с упорством маньяков твердят, что Сталин ничего не знает о творящихся беззакониях.

— Это следователи, гадюки, понаписывали... А он доверился Ежову. Вот теперь Берия порядок наведет. Докажет *ему*, что сидят все невинные. Вот помяните мое слово: скоро домой поедем. Надо больше писать *ему*, Иосифу Виссарионовичу, чтобы знал правду. А как узнает — разве он допустит, чтобы такое с народом? Вот хоть я... с детства на Путиловском...

Надю Королеву перебивает Хава Малаяр, стройная женщина лет сорока, с лицом оперной Аиды. У нее дооктябрьский партийный стаж. Белые приговаривали ее к расстрелу.

— Нехорошо, Наденька, — с улыбкой говорит она. — Ты — питерская пролетарка... к тому же, сейчас 39-й год. А питерские рабочие только до 9-го января 1905-го думали, что злые министры доброго царя с толку сбивают. После 9-го они уже отлично разобрались, что к чему. А ты, вроде, на уровне зубатаовцев, а?

На Хаву сразу набрасываются Женя Качуринер и Лена Кручинина. Они наперебой подводят научно-теоретическую базу под всё происходящее в стране. Над духотой седьмого вагона, над подрагивающими глиняными кружками с остатками мутной теплой воды, над ярославскими бушлатами несутся удивительные слова об обострении классовых противоречий по мере продвижения к социализму, об объективном и субъективном пособничестве врагу... О том наконец, что лес рубят — щепки летят.

И Женя и Лена были на воле преподавателями кафедр марксизма в вузах.

— Эй, начетчики! Что там толкуете? — остервенело кричит с третьих нар Таня Станковская. — Что вы там за рабочий класс расписываетесь, столичные барыни?

— Странно вы себя ведете, Станковская, — сухо обрывает ее Лена, — трудно поверить, что вы в партаппарате работали.

— А вы их видели, наши партаппараты-то, донбассовские, скажем? Да вы, кроме Арбата и Петровки, вообще что-нибудь видели? Ладно, короче говоря, довольно нудить! Давайте споем лучше! Благо, здесь этого не запрещают...

И Таня затягивает голосом охрипшего пропойцы шуточную этапную на мотив «Боевого восемнадцатого».

По сибирской дороге
ехал в страшной тревоге
заклоченных несчастный народ...

за троцкизм, за терроры,
за политразговоры,
а по правде — сам черт не поймет!

— Лучше грустную, — предлагает Таня Крупеник, — давайте про чоловиков своих заспываемо, дивчата... Живы ли они?
Из пересохших глоток летит этапная:

Мы подруги, друзья, ваши жены,
мы вам песню свою пропоем...
По сибирской далекой дороге
вслед за вами этапом идем...

Мужья... Некоторые точно знают, что их мужья расстреляны, другие не знают ничего, но на встречу надеются абсолютно все. И песня сменяется страстным шёпотом.

— Встретимся... В лагерях изоляции нет...

— А там, может, и разрешат совместное проживание... Вот ведь Люся говорила...

Эта тема сразу выдвигает на первый план меньшевичек и эсерок. У них тюремный опыт. Они знают, как бывает и как не бывает.

Люся Оганджянян — коротенькая, длинноногая, с умными насмешливыми глазами, удивительно похожая на Розу Люксембург, — охотно рассказывает о самых светлых минутах своей жизни. Они прошли в Верхнеуральском политизоляторе, где в начале 30-х годов либерализм доходил до того, что разрешались семейные камеры.

— Вы вот знакомы с чистой бескорыстной любовью только по литературе, — говорит Люся и хорошеет, заливаясь румянцем. — А я знала ее в жизни. Не жалею на судьбу, свою долю радости получила. Эта волшебная одиночка — настоящее слияние двух душ, обостренное враждебностью окружающего мира...

Эсерка Катя Олицкая — женщина за сорок, похожая почти мужским орлиным носом и прямыми прядями спадающих на лоб волос на вождя индейцев Монтигомо Ястребиный Коготь, определенно обещает встречу с мужчинами в транзитном лагере. Правда, мы пока не знаем, куда нас везут, но если во Владивосток, то там обязательно встретимся с мужчинами.

— Не слушай их, — шепчет мне на ухо Надя Королева, — что они понимают? От царя Гороха остались. Вон что она несет-то! Себя социалисткой называет, а нас... Помню, учили мы про них

на политзанятиях, так я думала — они давно вымерли... И вдруг рядом... Вот компания, понимаешь! Чтоб ему ни дна, ни покрывшки, этому следователю!

От песни про мужей разговор так и клонится к запретной теме. Уже сколько раз, еще в Бутырках, договаривались: про это не надо... Но всегда найдется одна, которая не выдержит.

— Помню, было ему четыре года. Купила я как-то курочку и зарезала. А он: не буду знакомую курочку есть...

Зоя Мазнина, жена одного из организаторов ленинградского комсомола, из своих троих детей чаще всего вспоминает младшего — Димку. И не плачет, когда рассказывает, а наоборот, улыбается. Смешные случаи ей все на ум приходят.

Плотина прорвалась. Теперь вспоминают все. В сумерки седьмого вагона входят улыбки детей и детские слезы. И голоса Юрок, Славок, Ирочек, которые спрашивают: «Где ты, мама?»

Есть счастливые. Они получали в Ярославке письма. Они знают, что их дети живы, у стариков. Есть самые несчастные — такие, как Зоя Мазнина. Она уже третий год ничего не знает о детях. Некому написать. Муж и брат арестованы. Стариков нет. А чужие разве напишут? Опасно... Да по правилам Ярославки и не передали бы письмо от чужих. Переписываться можно было только с кем-нибудь одним из близких родственников, и то по нищенской норме.

Я почти счастливица, если я знаю из маминых писем, что один мой сын в Ленинграде, другой — в Казани. У родственников. Может быть, не обидят. Мама переписала строчки из Алешинного письма: «Дорогая бабушка! Со мной на парте сидит мальчик, у которого мама сидит в том же ящике, что и моя» (адрес Ярославки: почтовый ящик №...)

Я крепко сжимаю пальцы, стараясь не поддаться припадку материнского горя. А припадок уже назревает, уже сгущается над седьмым вагоном. Я помню, как это бывало в Бутырках. Только начни — пойдет...

Вспышка массового отчаяния. Коллективные рыдания с выкриками: «Сыночек!» — «Доченька моя!» А после таких приступов — назойливая мечта о смерти. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Нет, нельзя давать себе волю. Я в тысячу раз счастливее Зои. Я знаю, где мои дети. Я счастливее Милды Круминш, которая получила в Ярославке письмо от своего Яна. Одно письмо за два года. Из специального детского дома, где жили дети заключенных. Ян писал: «Милая мама! Я живу хорошо. На I-е мая у нас был

концерт самодеятельности». А внизу торопливыми каракулями было приписано: «Мамочка! Я забыл латышские буквы, напиши мне их, и тогда я напишу тебе по-латышски, как мне здесь плохо без тебя».

Надо научиться вот так же, как Зоя Мазнина, говорить и думать о детях без слез, с улыбкой. Вот сейчас расскажу про Ваську:

— Когда ему было три года он сочинял стихи: «Вот идет однажды дама, это Васенькина мама»...

На этот раз сгустившийся над головами мрак вдруг разрежется не общими рыданиями, а неожиданным скандалом. Писательница Зинаида Тулуб невзначай обронила некстати словечко о своем необыкновенном коте Лирике. И на нее чуть не с кулаками бросилась та самая Лена Кручинина, которая так умело подводила теоретическую базу под события тридцать седьмого года.

— Как вы смеете? — кричала Лена, совсем, совсем другим голосом, не тем, каким она освещала теоретические проблемы. — Как вы смеете со своими дамскими прихотями! Здесь матери, понимаете это, матери! Их дети насильственно разлучены с ними и брошены на произвол судьбы, а вы смеете оскорблять матерей! Сравнить наших детей со своими котами и пуделями!

К счастью, остановка. Поднявшийся бешеный шум обрывается на полуслове. «Спецоборудование» снова не дышит. Только Нина Гвиниашвили решается еле слышным шепотом подытожить столкновение.

— Здорово формулируете, Леночка! Очень четкие формулировочки! А как же проблема детей с точки зрения обострения классовой борьбы по мере нашего продвижения к социализму?..

...Сквозь окошечко просачивается летний вечер. Близится час, когда в Ярославке бывал отбой. Теперь уже совсем ясно: воды больше не будет. А надеялись до последней минуты. Сама Фиса Коркодинова, староста, надеялась.

— Думала, грозитя он только, что одна кружка на день. Тут ведь, если на нормальный стакан мерить, так больше полстакана не будет. А умываться как же?

Тамара Варазашвили опять высоко закидывает голову и вполголоса говорит:

— Никогда не посмели бы мучить людей жаждой, если бы мы требовали воды. А мы ведь только просим. Униженно умоляем. А с такими чего же церемониться?

Опять завязывается спор. Уже из последних сил выдавливая

саднящие горло слова, Сара Кригер популярно разъясняет, что требования можно было бы предъявлять, если бы дело происходило, скажем, в царской тюрьме, а в своей...

— У вас собственная тюрьма есть? — очень спокойно переспрашивает Нина Гвенияшвили.

Наде Королёвой, уживчивой, уступчивой, услужливой, миролюбивой, вдруг становится непереносимо тошно.

— Спице давайте! Хватит уже. Беда мне — с учеными попала. Так и жалят друг друга. Ну, трудно с водой. Что ж теперь делать-то? Перетерпим... Самое главное — работать едем, не в каменном мешке сидеть...

(Пройдет четыре года, и Надя Королева, возвращаясь лиловым кольымским вечером с общих работ, рухнет на обледенелую землю и этим задержит движение всей колонны. На нее будут сердиться те четверо, которые шагали с ней в пятерке. И часовой будет довольно долго шевелить труп Нади прикладом, приговаривая: «Хватит придуриваться! Вставай, говорю!». Он повторит это несколько раз, пока кто-то из зеков не скажет: «Да ведь она... Не видите разве?»).

...Почти все уже заснули. Я долго мучаюсь, боясь повернуться, чтобы не разбудить Тулуб. Бедняга так беззащитно плакала, когда Кручинина напустилась на нее. Пусть поспит.

Не спят на вторых нарах. Там тихонько беседуют кавказские женщины и две коминтерновские немки. Тамара, наверное, страшно довольна, что Мария Цахер, член КПГ, бывшая сотрудница немецкой коммунистической газеты, заинтересовалась Грузией, расспрашивает. В такт постукиваниям колес Тамара мечтательно повествует.

— Высокая культура... Христиане с пятого века... Шота Руставели. Народ мой. Гордый, бесстрашный... Немного эпикуреец...

— Попросту говоря, лентяи порядочные, — вставляет словечко Нина Гвенияшвили.

Легкое хихиканье. Это смеется Люся Петросян, родная сестра легендарного Камо. Об этом сама Люся избегает говорить. Не повредило бы... А когда Нина громогласно призывает ее не скрывать такого брата, а гордиться им, Люся с притворным смирением говорит:

— Я простая, темная горянка.

Да, Люся очень осторожна, потому что ее когда-то лично знал великий Сталин. И каждое утро начинается для Люси надеждой:

вот откроется дверь, войдет начальник и вызовет ее с вещами. На свободу... И так уже третий год.

Тамара недовольна тем, что Нина своими репликами снижает романтическую приподнятость рассказа о Грузии.

— Отступница ты... От своего народа... А по глазам все равно видно, что грузинка. Вон как сияют...

(Через шесть лет с зелеными, сияющими глазами Нины Гвинаяшвили, изящной, остроумной художницы, случится вот что: в колымском совхозе Эльген, где на силос идет даже самая грубая лоза, неисправная силосорезка дрогнет, сорвется с рычагов, и колкая тугая лозина выхлестнет напрочь Нинин правый глаз. А когда мы с Павой Самойловой проберемся в лагерную больницу, чтобы передать Нине сахарку, и будем подавленно молчать у ее койки, Нина ласково погладит Паву по руке и скажет: «Не мучайтесь, девочки! На такую жизнь, как наша, достаточно и одним глазом смотреть»).

...Совсем ночь. Не могу заснуть. Лежу еще долго после того, как Мария Цахер закончила беседу о Грузии рядом добросовестных русских предложений, построенных по-немецки с «вербум финитум».

— Спасибо, Тамара. Это знания, которые для мой знакомств с Советский Союз большого значения иметь будут...



Наутро всем неловко за вчерашнее.

— Подумайте, девочки! Как мы в Ярославке мечтали узнать, кто сидит рядом. Какое бы это было счастье поговорить с соседкой. А теперь спорим, обижаем друг друга. Зачем срывать на других свое горе?

Эти слова очень доходят до всех еще и потому, что их произносит Павочка. Паву все зовут только Павочкой. У нее круглые карие чистые глаза, по-мальчишески стриженные волосы. Она попала в чертово колесо из-за брата. За то, что она — сестра Вани Самойлова, когда-то участвовавшего в комсомольской оппозиции. Сама Павочка делит свою биографию на два раздела: школа и тюрьма. В облике Павы есть что-то от тех девушек, которые шли в революцию в дореволюционные времена.

— Давайте лучше даром времени не терять. Пусть каждый рассказывает по своей специальности: Аня — по сельскому хозяй-

ству, Муся — лекции по медицине. Софья Андреевна — по истории. А ты, Женя, читай Пушкина. Ты ведь можешь наизусть.

— Правильно! Давайте классиков. Очень успокаивает...

В этом деле я сразу выдвигаюсь даже на фоне пропитанных стихами ярославских узиц. К тому же читать наизусть очень выгодно. Вот, например, «Горе от ума». После каждого действия мне дают отхлебнуть глоток из чьей-нибудь кружки. За общественную работу. А своя кружка стоит закрытая мисочкой, и я с удовольствием думаю о том, что в ней оставлено порядочно водички на вечер. С четверть стакана определено будет.

Но вот дошла очередь до «Русских женщин». Сколько раз еще в Ярославке мысли обращались к декабристкам. Читаю о встрече Волконской с мужем.

Невольно пред ним я склонила
Колени — и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

Нет, это для нас теперь не хрестоматийные строки! Это та самая мечта, которая маячит перед каждой из семидесяти шести. Читаю и вижу десятки налитых страданием глаз. А декабристки... они воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто не удивился бы, если бы рядом с Павой Самойловой и Надей Королевой здесь оказались Маша Волконская и Катя Трубецкая.

Но у них дело было полегче. «Покоен, прочен и лёбок На диво слаженный возок...» Это вам не седьмой вагон! Да что там вагон...

— Пешком бы, братцы, прошагала до Колымы, кабы знать, что Коля там... — вздыхает сверху Таня Станковская.

Да, Маше Волконской здорово повезло! Вот она и встретила со своим Сергеем в руднике...

Святая, святая была тишина!
Какой-то высокой печали,
Какой-то торжественной думы полна.

Читаю всё дальше и дальше, и вдруг воцаряется действительно полная тишина. На фоне этой тишины я странно громко слышу свой голос. И наконец отдаю себе отчет, в чем дело. Колеса давно уже не аккомпанируют мне. Стоянка!

— Что же мы наделали! Забыли... Полное молчание на остановке. Что же будет? Спецоборудование заговорило...

Тарахтение отодвигаемого болта, и резкий возглас начальника конвоя:

— Книгу сдать!

На этот раз добрый молодец Соловей-разбойник не улыбается и не ищет глазами Фису Коркодинову, старосту. В нем вдруг проявляется какое-то фамильное сходство с самыми свирепыми ярославскими надзирателями, даже с Сатрапуком, сажавшим всех в карцер.

— Книгу, говорят вам, сдать! Староста седьмого вагона! Что стоишь! Сдать, говорю! А то такой шмон вам закатим, что небо с овчинку покажется! Эй, Мищенко! Находи давай книгу! А их всех на карцерное положение! Я их выучу, как в этапе режим нарушать, конвой подводить!

— Давай все переходи на одну половину! — командует толстоносый Мищенко, сталкивая всех влево и начиная профессионально точными движениями перетряхивать ярославские бушлаты с коричневыми полосами.

Тамара Варазшвили, которую Мищенко толкнул довольно основательно, возмущенно говорит, не повышая голоса:

— Я протестую. Режима никто не нарушал. Никаких книг в вагоне нет. Товарищ читала стихи наизусть.

Это возражение приводит Соловья-разбойника в бешенство.

— Что вы меня, понимаешь, придурком ставите? Нет книги? Да я сам лично под вагоном битый час торчал и слушал, как вслух по книге читали.

— Это наизусть...

— Вон то! Ну, за такие слова, за нахальное это вранье вы ж у меня до самого Владивостока на карцерном положении поедете, раз так! Я вам покажу, как над начальником конвоя надсмешки строить! В остатний раз говорю — отдайте книгу! А то на себя пеняйте!

Выручает всё та же степенная, но в то же время расторопная староста вагона, бывший заворг Нижне-Тагильского горкома комсомола.

— Разрешите обратиться, гражданин начальник, — вытягиваясь в струнку, говорит она, по возможности умеряя раскаты своего басовитого голоса. — А вы проверьте сами! Заставьте ее при вас почитать. И сами увидите, что она без книги читать может. У нее память, гражданин начальник... Просто сами удивляемся... Атттракцион. Право, заставьте... Пусть почита-а-ат...

На лице Соловья — борьба чувств. Ему и боязно — не попасть

бы впросак, а с другой стороны уж больно удачно нашла Фиса словечко — аттракцион!

Побеждает любопытство.

— Ладно, — решает Соловей, — давай, Мищенко, сделаем проверку, коли так. Котора это у вас может-то? Вон та? Чернявенька? Ну, давай, валяй! Вот по часам, смотри, засекаю. Полчасача считаешь без книги, но чтобы складно, да без останову — поверю! Не выдюжишь — на карцерном весь вагон. До самого Владивостока!

Все радостно шумят. У всех отлегло от сердца. Во-первых, в пылу скандала выяснилось наконец-то направление транспорта. Владивосток! Это уже что-то определенное. Оттуда, наверное, на Колыму. А там непочатый край возможностей героического труда и досрочных освобождений. Во-вторых, никто не сомневается в успехе аттракциона. Проверенный.

— Начинай! — командует Соловей.

— А вы присядьте, гражданин начальник, — хлопочет хозяйственная Фиса, — на ногах ее не переслушаешь, устанете.

— Ладно! Садись давай Мищенко... Посмотрим.

Нет, «Русских женщин» я им читать, конечно, не буду. Что-нибудь нейтральное. «Евгений Онегин». Роман в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Пушкина.

Читаю и не свожу глаз с конвоиров. На лице Соловья — сначала угроза: сейчас сорвется, вот тут-то я с тобой и разделюсь. Потом растущее удивление. Затем почти добродушное любопытство. И наконец возглас плохо скрытого восторга.

— Ишь, черти, троцкисты-бухаринцы! До чего же, дьяволы, ученые! Ну ты подумай, Мищенко, — ведь и впрямь без книги шпарит! Постой, а ты что же замолчала? Может, до сих пор только и знаешь? А? Нутко, дальше, дальше давай!

Читаю дальше. Поезд уже тронулся, и колеса четко отстукивают онегинскую строфу. Кто-то подносит мне драгоценный дар — глиняную кружку с мутной теплой водичкой.

— Глотни из моей, а то пропадет голос...

Толстоносого Мищенко укачало. Он дремлет, временами вздрагивая и встряхиваясь. Но любопытный и озорной Соловей-разбойник воспринимает Пушкина как надо: где надо — смеется, где надо — огорчается. В восторг его приводит описание Ларинских гостей.

Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов...

— Ничего себе! — иронически гогочет он, прерывая чтение и щурясь на Фису, — от тридцати до двух годов! Потрудились! По-наделали ребятишек!

О карцерном положении больше нет речи. Уходя, Соловей обещает:

— В Свердловске баня вам будет. Пропускник там законный... Воды хошь залейся! Там и намоетесь, сколько влезет, и напьетесь до отвалу. Скоро уж...

ОТ РЕДАКЦИИ

28 февраля 1968 г. « Г Р А Н И » дали сообщение о том, что известный русский математик Александр Е с е н и н - В о л ь п и н был задержан органами КГБ 14 февраля и заключен в так называемую «Психиатрическую лечебницу № 5» (Станция Столбы, Московской ж. д.), которая в действительности является не больницей, а тюрьмой.

А. Есенин-Вольпин, 44-летний ученый с мировым именем в области математической логики, известный также как философ, поэт и переводчик, подвергался уже репрессиям во времена Сталина. В 1961 г. Есенин-Вольпин опубликовал на Западе сборник стихов и трактат о своем немарксистском мировоззрении («Весенний лист», изд. Прегер, Нью-Йорк, 1961). На демонстрации против реабилитации сталинщины, организованной в Москве в День конституции 5 декабря 1965 г., Есенин-Вольпин нес плакат в защиту тех элементарных прав и свобод, которые формально гарантирует советская конституция.

Новый акт террора против мужественного представителя российской интеллигенции вызвал волну возмущения во всех странах с правовым либеральным строем. Мы рады отметить, что протест против произвола КПСС нашел отклик также в нашей стране. Одним из свидетельств этого является письмо от 9 марта, адресованное возглавителям партии и правительства, подписанное 95 представителями научно-технической интеллигенции и общественности.

Долгие крики

(О поэме «Братская ГЭС»)

Цикл стихотворений Евтушенко «Поездка на север», напечатанный в первом номере журнала «Знамя» за 1965 год, начинается со стихотворения «Долгие крики».

Есть где-то на севере перевоз, — то ли люди там спят от нечего делать, то ли речка широкая, — надо кричать долго и упорно, пока кто-либо отзовется на твой крик.

Дремлет избушка на том берегу.
Лошадь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
а разбудить никого не могу.

Первое же четверостишие настораживает: мы еще не знаем, что поэт скажет дальше, но это «криком кричу» — чувствуется — неспроста сказано; в него вложено гораздо большее, чем простое желание докричаться до людей на том берегу.

Голос мой в залах гремел, как набат.
Площади тряс его мощный раскат,
а дотянуться до этой избушки
и пробудить ее — он слабоват.

Уже — не «разбудить, а «пробудить».

Но не тужи, что обидно до слез.
Можно о стольком подумать всерьез.
Времени много... «Долгие крики» —
Так называется перевоз.

В десяти стихотворениях цикла из шестнадцати Евтушенко раздумывает о своем назначении в этом мире, о своем призвании

не только как поэта, но и как человека. Раздумывает о жизни вообще.

Теми же раздумьями полна и его поэма «Братская ГЭС». В предисловии к ней он пишет:

«Две философии сражаются сейчас в мире: философия безверия, пессимизма и философия веры в светлое будущее человечества. ...Около двух лет мучительно и счастливо я работал над поэмой... Собственно говоря, может быть, это и не поэма, а просто мои раздумья, объединенные спором двух тем: темы безверия, выраженной в монологе пирамиды, и темы веры...»

О поэме можно было бы начинать писать непосредственно с самой поэмы, но без упоминания о цикле «Поездка на север» разбор поэмы будет несколько куцым, настолько они связаны между собой общей темой раздумья и настолько они дополняют друг друга. Цикл стихотворений «Поездка на север» это — цикл раздумий поэта о своем назначении в обществе людей; своего рода вступление в поэму.

*

Где-то на севере, задолго до навигации, Евтушенко оказался в промозглом трюме почтового катера, развозящего почту для рыбаков. Этот «заезженный, замурзанный» катерок с простудным хрипением пробуждает в поэте чувство своей неполноценности. Для людей, заброшенных на край света, простудное сипенье этого неказистого, с трудом пробирающегося сквозь нагромождения льда катерка будет звучать — поэт чувствует — «самой лучшей музыкой». Потому что он доставит для них не просто письма, а чьи-то души, вложенные в письма.

Поэт спрашивает себя:

«А что же я такое, собственно,
и в чем мое предназначенье?»

Неужто я — лодчонка утлая
и, словно волны катят страсти,
швыряясь мной?» Но голос внутренний
мне отвечал: «Ты — катер связи».

Возможно, что ты устал, может быть, и голос-то у тебя не особенно звонок — неважно. Важно другое: пока нет навигации, а людям нужны свет и тепло — терпи, прорывайся сквозь ледяные заторы и вези в себе «почтовые мешки» туда, где «безнадежность и надежда». Потом, когда начнется навигация и придут настоя-

щие пароходы, люди, возможно, забудут твой сиплый голос. Но ты, поэт, не обижайся на людей: ты свое дело сделал в свое время — находился при людях, когда они нуждались в тебе.

И счастливый от сознания, что в этом мире что-то зависит и от него, Евтушенко кончает стихотворение:

И сам, накрытый чьей-то шубою,
я был от столького зависим,
и, как письмо от Ваньки Жукова,
дремал на грудах прочих писем.

*

Помимо тревожащего чувства своей неполноценности поэту не дает покоя наличие в нем чего-то, похожего на ложь. В стихотворении «Береговой припай» Евтушенко сравнивает себя с островом, окруженным льдом (береговой припай), а свою любимую — со шхуной, которая не может приблизиться к нему.

Неужели ты так и не проберешься ко мне «сквозь намертво припаянную ложь»? — спрашивает поэт любимую и вдруг, как бы прозрев, видит, что шхуна-то — не его любимая, а он сам. Это он сам старается пробиться к самому себе:

Неужто, льдами собственными сдавлен,
треща по швам, со льдинками в борьбе,
я плюну зло, я поверну, я сдамся,
усталый, не пробившийся к себе?!

В стихотворении о морях-курсантах Евтушенко снова говорит о лжи. Попав из училища на корабль, эти «моряки» рисуются перед мальчишками, сидящими на берегу, такими морскими волками. Завидующим мальчишкам и невдомек, что под напускной «прожженностью морских волков» прячутся такие же самые мальчишки.

Евтушенко видит себя в роли такого вот «морского волка»:

Вы сходите, мальчишки,
от зависти с ума,
но видел я штормишки,
а вовсе не шторма.

Что жизнь меня швыряла,
я это просто врал,
и не было аврала,
а лишь игра в аврал.

Вот оно что! Настоящего, оказывается, еще ничего не было. Но поэт надеется, что его ветер в «двенадцать баллов» еще придет.

Себе все время повторяю:
зачем, зачем я людям лгу,
зачем в могущество играю,
а в самом деле не могу?

В приведенных выше трех стихотворениях поэтом подчеркивается ложь; она идет от внутреннего сознания своей неполноценности. В поисках самого себя, в стремлении дать людям хорошее Евтушенко искренен, но ему кажется, что он обманывает людей — дает не то, что ему хотелось бы дать, чего люди, собственно, ждут от него, но чего он не может им дать. Почему? Потому что ему самому это не дано. Он чувствует в себе настоящее, но выразить его полно — «в самом деле» — не может.

И не дает мне мысль об этом
перо в чернило обмакнуть...
О, дай мне, Боже, быть поэтом.
Не дай людей мне обмануть.

Интересно, что цикл «Поездка на север» начинается с крика и кончается криком. В первом стихотворении — крик в полный голос:

Криком кричу и стреляю, стреляю,
а разбудить никого не могу.

В последнем стихотворении — «Я на пароходе «Маяковский» — крик немного иной. Если в «Долгих криках» поэт недоумевает, что его голос, «гремевший набатом в залах», бессилен, но все же приходит к выводу — надо ждать, то в последнем стихотворении он кричит, как будто не дождавшись отклика на перевозе «Долгие крики».

В общем шуме и толкотне на паровой палубе до слуха поэта долетает мотив знакомой песни. Оглянувшись по сторонам, он видит солдата: примостившись на бочкотаре и сам себе акком-

панируя на гитаре, он пробует петь блатную песенку «Граждане, послушайте меня».

Вот на этом «Граждане, послушайте меня» и построено все стихотворение. На фоне одной строки Евтушенко развернул широкую, обобщающую картину бытующего человека. Солдат, конечно, и не собирается обращаться к «гражданам» с какой-нибудь речью или призывом, он просто разучивает песенку. Но в повторяющемся «Граждане, послушайте меня» Евтушенко увидел нечто большее:

Граждане не хотят его слушать —
 кой-кому бы выпить да откусать,
 и сплясать, а прочее — мура.
 Впрочем, нет, еще поспать им важно...
 Что он им заладил неотвязно:
 «Граждане, послушайте меня...»?

Сколько раз в каждом из нас билось вот это «Граждане, послушайте меня»? Но, увы... Каждый занят своим делом:

Кто-то помидор со смаком солит,
 кто-то карты сальные мусолит,
 кто-то сапогами пол мозолит,
 кто-то у гармошки рвет меха.

Евтушенко сравнивает себя с солдатом: он тоже пробует обратить на себя внимание граждан, но гражданам, похоже, нет до него никакого дела. А потом вдруг — нечто иное:

Страшно, если слушать не желают.
 Страшно, если слушать начинают.
 Вдруг вся песня в целом-то мелка?
 Вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
 этого мучительного с кровью:
 «Граждане, послушайте меня...»?!..

«Вдруг вся песня в целом-то мелка?» — очень беспокоит поэта и, приступая к поэме, он прибегает к помощи... молитвы.

«Молитва» его своеобразная: в ней он обращается не к Богу, а к великим российским поэтам. Но это не меняет сути. На Руси когда-то было принято: без молитвы не начинать никакого дела.

Я уверен, что в стороне от главных городов этот обычай существует и сейчас. Евтушенко подсмотрел его и перед началом поэмы прибегнул к этому древнему обычаю:

... на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...

Кто же они, эти «великие российские поэты»?

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок и... Пастернак, Есенин, Маяковский.

Вот обращение к Пастернаку:

Дай, Пастернак, смещение дней,
смещение веток,
сращение запахов, теней
с мучением века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы во век твоя свеча
во мне горела...

Откуда это? Из бормочущего сада Пастернака и из его «Доктора Живаго»:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Это уже не только святотатство с точки зрения правоверного коммуниста, а нечто похуже: мало того, что Маяковский поставлен рядом с Пастернаком, но еще и свеча из «Доктора Живаго» фигурирует в поэме, воспевающей Ленина.

За «Молитвой» в поэме следует глава-вступление «Я ехал по России...».

На «Москвиче» Евтушенко с женой едут «куда-то к морю». Поездка эта становится как бы пробегом по России настоящей со взглядом в прошлое и в будущее.

Дыша степным, березовым, соснистым,
 в меня швырнув немыслимый массив,
 на скорости за семьдесят, со свистом
 Россия обтекала наш «Москвич».
 Россия что-то высказать хотела
 и что-то понимала, как никто.
 Она «Москвич» вжимала в свое тело
 и втягивала в самое нутро.

Поездка эта — пробег по России и желание напомнить людям об утраченных духовных ценностях, указать на неполноценность человеческой личности, скользящей по поверхности.

Поверхностность, ты хуже слепоты.
 Ты можешь видеть, но не хочешь
 видеть.
 Быть может, от безграмотности ты?
 А может, от боязни корни выдрать
 деревьев, под которыми росла,
 не посадив на смену ни кола?!
 И мы не потому ли так спешим,
 снимая внешний слой лишь на полметра,
 что, мужество забыв, себя страшим
 самой задачей — вникнуть в суть
 предмета?
 Спешим... Давая лишь полуответ,
 поверхностность несем, как сокровенья,
 не из расчета хладного — нет, нет! —
 а из инстинкта самосохраненья.

Инстинкт самосохраненья, боязнь вникнуть в суть предмета — это неизжитое наследие культа личности. Тема эта — нерв творчества Евтушенко. Для него культ личности — это низведение человека на положение скота, моральное уродство и духовное убожество.

*

Чтобы ясней осмыслить настоящее, Евтушенко уходит в глубину веков и поэму начинает с монолога древней египетской пирамиды:

Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:
 государства лишь внешне новы.

Проклинаю любое бессмертье,
если смерти —
его фундамент!

Чуть ли не каждая строка из монолога пирамиды читается в настоящем времени. «Песня надсмотрщиков» только углубляет чувство современности:

Плётка —
 лекарство,
хотя она не мед.
Основа государства —
надсмотр,
 надсмотр.
.
Опасны, кто задумчивы.
Всех мыслящих —
 к закланью.
Надсмотр за душами
важней,
 чем за телами.
Вы что-то загалдели?
Вы снова за нгытье?
Свободы захотели?
А разве нет ее?!
(И звучат не слишком бодро
голоса:
 «Есть!
 Есть!» —
то ли есть у них свобода,
то ли хочется им есть.)

Каких надсмотрщиков это песня?

Не надо быть особенно пронизательным, чтоб увидеть как много общего между «опасны, кто задумчивы. Всех мыслящих — к закланью» и кирсановским «ассигнованья сократив, он штраф на нас начислил, чтоб никаких без директив не зарождалось мыслей» из поэмы «Семь дней недели». А ответ на «галдеж» о свободе разве не напоминает партийных окриков?



От лица Братской ГЭС Евтушенко старается показать пирамиде, как «забытый и запутанный» народ постепенно обретает свое лицо. Повествование доходит до штурма Зимнего:

Глядит пирамида

все так же скептически:

«Я вижу:

мерцают в струенье дождя

штыки — с холодной непримиримостью,

но справедливость, к власти придя,

становится несправедливостью.

Братская ГЭС не сдаётся. Она пробует доказать, что эта несправедливость временна, что она даже необходима в процессе вытаскивания человечества за волосы «из лжи и невежества»:

«...Оно упирается,

оно недовольно,

не понимая сразу того,

что иногда ему делают больно

только затем,

чтоб спасти его...»

Но пирамида остроугольно

смотрит:

«Ну что же, — нас время рассудит.

Что, если только и будет больно,

ну, а спасенья не будет?»

Пока призрак пирамиды не исчезает, Евтушенко от имени Братской ГЭС старается доказать ей, что к советской России неприменимо высказываемое пирамидой. Потом он от себя старается убедить в этом читателя... Мы идем вслед за поэтом — глава за главой — и видим, что он только противоречит сам себе: старается доказать одно, а показывает — другое.

Стройки... стройки... стройки... Стройки во имя чего? Светлого будущего? Во имя бессмертия? А чем же это бессмертие отличается от бессмертия пирамид, если и здесь, как и там, фундамент — смерти: Соловки, Беломорский канал, Колыма, Воркута... И разве не то же назидание египетских надсмотрщиков является лозунгом развернутых строек социалистического государства? Там — «по-

четна работа раба», здесь — «труд — дело чести, дело доблести и геройства».

Центр поэмы — Ленин. Ленин (по Евтушенко) — начало добра и справедливости на русской земле. Но вот труженик-идеалист (каким Евтушенко видит большевика-ленинца), строящий одну из ГЭС, попадает в разряд «врагов народа»:

Когда меня пытали эти суки,
и били в морду, и ломали руки,
и делали со мной такие штуки —
не повернется рассказать язык! —
и покупали: «Как насчет рюмашки?» —
и мне совали подлые бумажки,
то я одно твердил: «Я большевик!»

Они сказали, усмехнувшись: «Ладно!» —
на стул пихнули, и в глаза мне — лампу,
и свет меня хлестал и добывал.
Мой мальчик, не забудь вовек об этом:
сменяясь, перед ленинским портретом
меня пытали эти суки светом,
который я для счастья добывал!

А кто пытал этого ленинца?

Такие же ленинцы, творцы новой, справедливой жизни на земле.

Потом борца за справедливость кинули в лагеря для перевоспитания и, чтобы он трудился более продуктивно, приставили к нему современных надсмотрщиков, по сравнению с которыми египетские надсмотрщики — младенцы неопытные.

А потом что?

Потом — война. Борец за справедливость, вместе с другими «прономерованными зеками» и вместе с обманутым народом, вошел в Берлин. А после войны:

«Врагом народа» так же оставаясь,
я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.
Скрывали нас от иностранных глаз.

.
... не снимали нас, не рисовали
и не писали очерков про нас.

Наконец справедливость восторжествовала, «когда в уже слабеющую руку Двадцатый съезд вложил мне партбилет».

Ну что ж, с семнадцатого года долго борцу пришлось ждать, чтобы пожать плоды своей борьбы. Но разве тот верный ленинец, по чьей воле проводился Двадцатый съезд, не оказался сам выброшенным на задворки? А разве после Двадцатого съезда так уж все благополучно стало в стране? Разве окрики — «Вы что-то загалдели» — раздавались не после Двадцатого съезда?

Выходит, что в революционном мире справедливости что-то не благополучно! Выходит, что пирамида оказалась права, сказав: «но справедливость, к власти придя, становится несправедливостью»!

Что это действительно так, Евтушенко рассказывает нам в поэме устами Нюшки. На долю Нюшки из деревни «Великая Грязь» выпало нелегкое детство. Мать ее умерла сразу после родов в сорок первом году. Воспитывала Нюшку вся деревня. Окончив семилетку, Нюшка ушла из деревни из-за невыносимых условий жизни. В городе работала домработницей у партийного «прохиндея», который хотя и не крыл ее матом, но за стол с собой — не сажал; подвыпивши, все твердил, что он тоже из народа и, на всякий случай, прятал портрет развенчанного «отца народов». Уйдя от «прохиндея», Нюшка моталась по стране буфетчицей на поездах дальнего следования. А потом — оказалась в рядах строителей Братской ГЭС.

«...Ты шатаешься... Тебе худо...
Но долби и долби, не валясь,
чтобы жизнь получше ла повсюду —
и в деревне Великая Грязь».

Это Нюшка сама себе наказ дает, долбя мерзлую землю тяжелым ломом.

Давно ли построена Братская ГЭС?

Недавно. На наших глазах.

А о чем мечтает строительница Нюшка, сменившая тяжелый лом на вибратор бетонщицы и сразу получившая при этом «общественный вес»?

Я, конечно, в детали не влажу,
что нам в будущем суждено,
но сердечком своим его мажу,
чтобы было без трещин оно.

Чтобы бабы сирот не рожали,
 чтобы хлеба хватало на всех,
 чтоб невинных людей не сажали,
 чтоб никто не стрелялся во век.

О справедливости мечтает Нюшка и о хлебе насущном. Почти полвека прошло с тех пор, как «перли на Зимний оружие тысячи», а ни справедливости, ни хлеба насущного так и не вкусили до сих пор граждане страны, восставшей за справедливость.

И еще:

Чтобы все в любви было чисто
 (а любви и сама я хочу),
 чтоб у нас коммунизм получился
 не по шкурникам — по Ильичу.

Похоже, что до сих пор только шкурники и вкушали от плодов революции.

*

Многие критики (советские и зарубежные) находят поэму чрезмерно длинной, перегруженной историческими событиями, несколько рыхлой и местами небрежно написанной, но все это не имеет никакого отношения к той враждебности, с которой некоторые советские критики взяли ее «в штыки». Главная причина враждебности кроется в том, что Евтушенко «оставляет за пределами своей поэмы битву идей в сегодняшнем мире», как писал Осоцкий в довольно ядовитой статье «Чтоб не срывался голос» («Комсомольская правда» от 7 июля 1965 г.). Он требует не философского спора, а действия:

«...именно они, философия веры и безверья, противостоят сегодня на планете друг другу. Противостоят не в отвлеченном академическом диспуте — в острой, непримиримой борьбе двух систем, двух идеологий. И двух искусств, потому что искусство никогда не было нейтральным полем в этой борьбе».

Иными словами: поэма Евтушенко несозвучна сегодняшнему дню советской действительности. И, надо признать, что это действительно так: несмотря на возвеличиванье идей коммунизма и

«апостола» справедливости Владимира Ленина, Евтушенко выносит в своей поэме жестокий приговор советской действительности с ее неизжитым наследием «культы личности». Приговор и желание вырваться из затхлости и рутины, порожденной в стране партийными руководителями — «прохиндеями».

Вот, например, глава «Бал выпускников»:

Где стоял ты,
 Стенька,
 возле палача, —
 абитуриентка
 пляшет
 ча-ча-ча.

 Бледные дружинники
 глядят,
 дрожа,
 как синенькие джинсики
 дают
 дрозда.
 Лысый с телехроники,
 с ног чуть не валясь,
 умоляет:
 «Родненькие,
 родненькие,
 вальс!»
 Но на просьбы робкие —
 свист,
 свист,
 и танцуют родненькие
 твист,
 твист...

Приговор выпускникам Евтушенко вкладывает в уста инженеру-строителю старшего поколения:

«Хоть и странно пляшете —
 здорово вы пляшете,
 только не забудьте,
 как плясали мы...»

Другими словами, — всему свой черед. Пришло время твиста, поколение пляшет твист. Нет в этом ни преступления по отношению к социалистическому обществу, ни уродства, обезображиваю-

власти с избытком, а потому, что он хочет правды и справедливости настоящей, а не полуправды и полусправедливости, а то и просто откровенной лжи, выдаваемой за правду; потому, что справедливость попирается в России на каждом шагу. Начиная с семнадцатого года, ее ставят к стенке, загоняют в концлагеря, пытаются светом и более изощренными пытками; ей выбивают зубы и отбивают внутренности, ею торгуют, ею прикрываются и за нее прячутся партийные «прохиндеи». И все это делалось и делается со ссылкой на основоположника коммунистической справедливости в России — Владимира Ленина.

*

Допустим, что многое в поэме можно понять и так и этак, но непримиримость к несправедливости и ненависть к фальши воспринимаются читателем с такой же остротой, с какой поэт сам это прочувствовал. В данном случае — никакой двойственности. А вместе с гневной ненавистью к узаконенному насилию светится в поэме любовь к людям и к России. В этой любви ощущается наличие особенной обостренности чувства и какой-то религиозности. Вполне возможно, что поездка на Север и встреча с его дикой природой вошла в какую-то извилину его души непостижимостью своего величия. Я не говорю, что поэт уверовал в Бога, но что-то сдвинулось в глубине его сознания. Неспроста в одном из стихотворений у него вырвалось:

Ах, как ты, речь моя, слаба!
Ах, как ничемны, непримечны,
как непросторны все слова
перед просторами Печеры!

И в другом стихотворении:

Как-то стыдно одной заземленности,
если все-таки есть небеса.

Причем Россия и человечность сливаются в поэме в одно целое. Евтушенко хочет справедливости для всех людей на земле, но, будучи рожденным в России, он в большей мере мучается несправедливостью на родной земле.

Пирамида,
я дочь России,
непонятной тебе земли.
Ее с детства плетью крестили,

на клочки разрывали,
 жгли.
 Ее душу ногами топтали,
 нанося за ударом удар,
 печенег,
 варяги,
 татары
 и свои —
 пострашнее татар.

Это говорит пирамиде Братская ГЭС.

«И свои — пострашнее татар» это не только далекое прошлое, но и совсем недавнее. И настоящее — тоже. Но в особенности — недавнее прошлое.

В главе «Жарки» старуха с «рублевским темным ликом» не может понять: зачем людям надо строить плотину, если в результате этого много домов уйдет под воду. Но, не понимая, соглашается: раз надо — стройте, только:

«Вы стройте, что вам хочется,
 лишь только б не для зла.

Моя избушка под воду
 уйдет, ну и уйдет,
 лишь только б люди подлые
 не мучили народ...»

И вдруг замолчала старуха. Видно, насмотрелась на своем веку.

«Ну, что молчишь ты, бабушка?»
 «Да так, сынки, нашло...»
 «А что ты плачешь, бабушка?»
 «Да так я, ничего...»

И крестит экскаваторы
 и нас — на все века —
 худая, узловатая
 крестьянская рука...

Берет за душу и глава «Диспетчер света». Берет своей человечностью. Читаешь ее и видишь перед глазами еврейскую девушку, бегущую по кругу, чтобы разносить сапоги для надзирательницы. Она бежит под ухмыляющимися взглядами часовых, а вклю-

бленный в нее юноша Изя Крамер смотрит, бессильный что-либо сделать:

И она бежит, бежит по кругу,
падает, встает, лицо в крови.
Боже, протяни ей свою руку,
навсегда ее останови!

Боже, я опять прошу об этом!
Милосердный Боже, так нельзя!
Солнце, словно лагерный прожектор,
Риве бьет в безумные глаза.

Тут «Боже» вырывается из самой глубины.

Любовь Евтушенко к людям ни с чем не спутаешь, и даже при всей нелюбви к нему как к поэту, ему нельзя отказать в искренности этого чувства.

В сборнике «Нежность» есть стихотворение про сосульку. В нее вливаются постепенно другие сосульки, растапливаемые солнцем. «Важная» сосулька растет, растет и, наконец, становится настоящей «сосулицей».

Родимая, будь умницей!
Расти себе, пригожая!
Не тронь людей на улице,
Которые хорошие!

Приглядывайся к городу —
тебе виднее сверху,
и упади на голову
плохому человеку.

И в том же сборнике в стихотворении «Первая машинистка» —

Одного мне ужасно хочется:
написать такое-такое,
чтобы стало тепло,
кому холодно,
будто тронула мама рукою.

Когда это к нему пришло? Может быть, когда он выбросил гонорар за первый сборник стихов, который принес ему деньги,

но оказался никому не нужен? Может быть, когда к нему, изнуренному и умирающему с голоду в степи Казахстана, вернулся шофер машины и, плача от радости, что пятнадцатилетний подросток еще жив, стал вливать ему в рот молоко? Может быть, когда в той же степи его нашла незнакомая женщина, плачущего от горя, беспомощности и стыда в какой-то яме, куда он залез, чтобы избавиться от одолевших его вшей?

Неважно, когда поэт почувствовал это в себе, главное — пришло к нему сокровенное человеческой души, желание дать людям хорошее.

✱

В поэме, кроме основной — «ленинской» — темы, сильно звучит «разинская» тема — бунтарская. Тему эту Евтушенко взял ради человеческого достоинства. По-настоящему «разинская» тема звучит в поэме гораздо сильнее, чем «ленинская», потому что вся ненависть и непримиримость к узаконенному насилию над человеком есть не что иное как выражение бунтарского духа Стеньки-человека.

Вот, например, глава «Трещина». Ночью кто-то принес тревожную весть: «В плотине — трещина!» Люди, кто где был, бросаются к плотине. Покидают вечеринки, кинотеатры, теплые постели, прерывают свадебное веселье — спешат спасти плотину.

Евтушенко хочет, чтобы в жизни люди вот так же самоотверженно боролись со всем, что подлежит искоренению.

Вот лжец растленно
с трибуны треплется.
Ревя,
 сирена!
Тревога —
 трещина!
.....
Поруган кто-то..
Проснитесь,
 дремлющие!
В машины —
 с лёта!
Тревога —
 трещина!

Никакого попустительства или снисхождения!

Правда, иногда бывает, что руки опускаются в бессилии, по-

тому что, кажется, нет никакой возможности справиться с засильем зла.

Когда
 в тупом благоденствии
 мозолит глаза
 прохиндейство,
 мне хочется
 в заросли девственные,
 куда-нибудь
 хоть к индейцам.

Бежать? Но куда бежать? Вообще, конечно, убежать, спрятаться можно при желании:

Разные водятся пряточки:
 прячутся в гогот,
 в скулеж,
 прячутся в мелкие правдочки,
 прячутся в крупную ложь.

Да мало ли какие пряточки можно найти! Но разве это спасение?! Разве, спрятавшись в одну из прятков, можно отгородиться от окружающего зла и несправедливости?! Конечно, — нет. Конечно, это не выход!

Но стыдно —
 кричу я криком —
 прятаться даже в природу,
 даже в бессмертные книги,
 даже в любовь и работу!
 Я знаю,
 сложна эпоха
 и трудно в ней разобраться,
 но если в ней что-то плохо,
 то надо не прятаться —
 драться!

Но если призыв к борьбе в «разинской» теме пробивается несколько подспудно, то борьба за человеческую личность выра-

Других убивая —
себя убиваем...»

Но вот о людях России поэт пишет несколько иначе:

Не однажды я видел,
как о том ни тужи,
незаметную гибель
человечьей души.

.
Видеть это не в силе.
Стиснув зубы, молчу.
«Человека убили!» —
я вот-вот закричу.

И рядом с этой болью за человека — боль за Россию. Вообще тема России звучит в поэме претворенно всего. Для Евтушенко нет России древней, России царской или России советской. Для него Россия — монолитное, исторически сложившееся тело, а революция — не грань какая-то, отбрасывающая все, что было до революции, — а одно из звеньев цепи на пути к справедливости. России без всей ее многовековой истории Евтушенко не мыслит.

Любовь к России у Евтушенко проходит через призму служения людям, и в этом служении, сквозь национальное, пробивается общечеловеческое. Но будучи рожденным в России, поэт в большей мере мучается Россией, судьбой ее народа.

В России все — моя родня,
и нет, наверно, ни избы в ней,
где бы не приняли меня
с участием, с лаской неизбежной.

.
Я столько должен по счетам
ее страданьям и победам,
и всем своим учителям:
рабочим, пахарям, поэтам.

Ну, пусть сегодня я в долгу —
когда-нибудь, в цвету и силе,
и я России помогу,
как помогала мне Россия.

Поэма вся тоже, как яблоко солнечным светом, пропитана любовью к России. От начала до конца. От «...дух России надо мной витает» первой главы «Молитва перед поэмой» до «Мне... мерцающе раскрылся, Россия, материнский образ твой» последней главы поэмы «Ночь поэзии».

Но особенной проникновенностью чувства любви к России наполнено стихотворение «Идут белые снѣги» («Юность» № 6, 1965 г.). Есть какая-то особенная, удивительная мягкость в этом стихотворении с его глубоко народным, повторяющимся песенным «идут белые снѣги».

Идут белые снѣги,
как по нитке скользят..
Жить и жить бы на свете,
да, наверно, нельзя.

Чьи-то души, бесследно
растворяясь вдали,
словно белые снѣги,
идут в небо с земли.

Идут белые снѣги..
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

Но уходить в небытие все-таки — страшно. Страшно уйти вот так сразу, как в воду кануть, как будто тебя и не было на земле.

Как бы оглядываясь перед смертью на пройденный путь, поэт спрашивает себя: что же я, грешный, сделал хорошего в жизни? как я ее прожил? «что я в жизни поспешной больше жизни любил?»

И отвечает — Россию.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно, —
для России я жил.

И надеждою маюсь,
полный тайных тревог:
чуть хоть, самую малость
я России помог.

Несомненно, что стихотворение это написано в период работы над поэмой, потому что в нем тоже упоминается и Пушкин, и Стенька, и Ленин. «Ильич» в общую музыку стихотворения врывается резким диссонансом, и за диссонанс этот зло берет на поэта: взять и нарушить светлую печаль стихотворения, пронизанного насквозь симфонией льющейся музыки, непростительно фальшивой нотой! И все-таки — удивительное стихотворение!

Идут белые снега,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня.

Идут снега большие,
аж до боли светлы,
и мои и чужие
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я...

Хочется верить вместе с поэтом, что это так и будет. Хочется верить, что он сможет преодолеть в себе «обожествление» Ленина, потому что эта слепота поэта кажется просто-таки непонятной: оттолкнуться с ожесточением от одного, навязанного в свое время насильно кумира, и начать добровольно поклоняться с каким-то тупым фанатизмом другому «золотому тельцу»! Хочется верить, что поэт, с его обостренной чувствительностью к фальши и лжи, отбросит от себя и эту ложь, найдет в себе силы закончить с рабской привычкой поклоняться «божкам» и докричит до людей.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ДЕЛЕГАТУ XXIII СЪЕЗДА КПСС М. ШОЛОХОВУ

Копии:

в Союз советских писателей

в редакцию журнала «Новый мир»

в редакцию «Литературной газеты»

В своей речи на XXIII съезде КПСС делегат М. Шолохов сказал:

Хотелось бы сказать несколько слов о месте писателя в общественной жизни...»

«Сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: «С кем вы, мастера культуры?»»

На вопрос «С кем вы, мастера культуры?» Сталин ответил: «Кто не с нами, тот против нас», а сам Горький, как пишет автор «Письма к старому другу»,*)

«оставил позорный след в истории России тридцатых годов своим людоедским лозунгом: «Если враг не сдается — его уничтожают». Море человеческой крови было пролито на советской земле, а Горький освятил массовые убийства».

Еще в начале XX века В. И. Ленин весьма произвольно разделил человеческую культуру на пролетарскую и буржуазную, выдвинул принцип партийности литературы и установил зависимость литератора от «денежного мешка». Данная теоретическая конституция является просто логическим следствием классовой теории марксизма, но не объясняет, однако, самой сущности дела. Классовый анализ человеческой культуры мог бы иметь место только в той мере, в которой он установил бы, во-первых, истори-

*) См. А. Гинзбург. «Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». «Открытое письмо» было помещено в журнале «Феникс 1966». — Р е д.

ческую роль того или иного класса в формировании человеческой культуры, во-вторых, форму и степень потребления тех или иных культурных ценностей различными классами и, в-третьих, форму и степень эксплуатации этих ценностей господствующим классом в ущерб классам и социальным группам, находящимся в угнетенном положении; это для марксиста, вероятно, было бы наиболее важно.

Разумеется, литератор зависит от «денежного мешка» в той же мере, как и всякий человек, но весь парадокс заключается в том, что литература от «денежного мешка» не зависит совершенно. Поставить литературу в зависимость от «денежного мешка» значит убить ее, что и случилось, например, с советской литературой. Поэтому литературу можно иногда убить, но поставить в зависимость от «денежного мешка» — невозможно.

К счастью для человечества, «денежный мешок» не всемогущ, а в сфере духовной и материальной культуры он всемогущ наименее всего. Более того, «денежный мешок», как правило, покорно подчиняется литературному всемогуществу. Вся серьезная литература XIX и XX вв. главным образом занималась анализом и критикой денежно-мешочных отношений. Но именно эта литература, которая подвергла наиболее серьезной критике этические и политические позиции господствующего класса и которая нанесла ему наиболее мощные удары, не погибла, а, наоборот, расцвела в недрах его господства. И это вполне естественно. Посмотрите, например, на современную литературу России и вы увидите, что наибольшей популярностью пользуется литература и литераторы, которые находятся в оппозиции по отношению к режиму и власти.

В связи с разговорами о зависимости литератора от «денежного мешка», не могу удержаться, чтобы не обратить внимание читателя на следующий факт. Ведь вот, к примеру, до какой степени капитулянтства, классовой бесхарактерности и предательства классовых интересов (как сказал бы В. Ленин) мог опуститься «денежный мешок», чтобы довести дело до присуждения Нобелевской премии писателю М. Шолохову, который с такой убедительностью доказал всем, что он уже не способен ни на что более серьезное, чем вздорные ругательства в адрес буржуазного искусства.

Иллюстрируя это утверждение, я приведу пространную цитату из выступления М. Шолохова на XXIII съезде КПСС, где он хвастливо заявил:

«В частности, это заняло немалое место в моей речи в Стокгольмской

ратуше во время Нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там значительно отличалась от сегодняшней (оживление в зале). И форма изложения моих мыслей была совершенно иной. Форма! Не содержание (бурные продолжительные аплодисменты).

Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы говорим как коммунисты. Кому-то это может прийтись не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться, более того, именно это и уважают всюду (бурные аплодисменты). Где бы ни выступал советский человек, он должен выступать как советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой Родины, как граждане страны, строящей коммунистическое общество, как выразители революционно-гуманистических взглядов партии, народа, советского человека (бурные аплодисменты)».

Это нужно понимать, видимо, в том смысле, что «денежный мешок» готов даже присваивать Нобелевские премии за хамство и безответственную болтовню, и что именно это хамство и эту безответственную болтовню «уважают всюду», и — извольте, читатель, полюбоваться — с этим привыкли уже «считаться», даже если «кому-то это может прийтись не по вкусу». Извольте, читатель, видеть сами: хамов покорно выслушивают в Стокгольмской ратуше во время Нобелевских торжеств!

Интересно, чем так покорило Нобелевское общество наш лауреат? Разве что формой. Аудитория там, видите ли, значительно отличалась от сегодняшней, и «форма изложения (sic!) его мыслей была соответственно несколько иной». Обратите внимание, читатель, «Форма! Не содержание». Вы видели, читатель, как «собака бьющую руку лижет», вот так же, с особой любовью, Нобелевское общество выслушивало Шолоховскую болтовню. Вы только полюбуйте на этого *enfant terrible*, смущающего Нобелевское общество своей бестактной непосредственностью. Эдакая, видите ли, безобидная *licentia poetica*.

На мой взгляд, это прямое оскорбление в адрес западной культуры. И Комитет по Нобелевским премиям поступит очень плохо, если не найдет в себе мужества выразить официальное и публичное сожаление по поводу присуждения Нобелевской премии по литературе за 1965 год писателю М. Шолохову, который ни перед русской, ни перед мировой культурой соответствующих тому заслуг не имеет, и который, более того, является в настоящее время выразителем антикультурных и антилитературных устремлений существующего в России антидемократического режима. В противном случае, престиж Международных Нобелевских

премий по литературе во мнении современной русской интеллигенции будет подорван.

В самом деле, русская интеллигенция, в столь большой мере подвергшаяся физической расправе и политическому утнетению во время сталинской диктатуры, интеллигенция, которая и в настоящее время ведет самоотверженную борьбу с военно-полицейским режимом, борьбу за минимальное обеспечение творческой свободы, эта интеллигенция никогда не простит западной культуре присуждения Нобелевской премии Шолохову, который, используя свой чрезмерно преувеличенный авторитет, встал на позиции, враждебные культуре и творческой свободе. К тому же этот Нобелевский лауреат совершенно всерьез может делать заявления вроде того, что «гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство». Вполне достойно Нобелевского лауреата.

Лидия Чуковская в своем письме по поводу выступления Шолохова на XXIII съезде КПСС писала:

«Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставить идеи, а не лагеря и тюрьмы. Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят приговора от Вашей головы».

Литература отомстит за себя. Ибо продавший душу дьяволу не может служить богам. А литература требует от писателя божественного откровения, искренности, истинности. И в какую бы бравую позу ни становился Шолохов, как бы ни изощрялся он в своих многократных попытках симулировать откровение — он никуда не уйдет от самого себя. В этом смысле — отмщение неотвратимо.

Выступая на съезде, М. Шолохов высказался в связи с делом Синявского и Даниэля следующим образом:

«Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговора. Здесь я вижу делегатов от парторганизации родной Советской Армии. Как бы они поступили, если бы в каком-либо из подразделений появились предатели?! Им-то, нашим воинам, хорошо известно, что гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство (продолжительные аплодисменты.)

И еще я думаю об одном: попадись эти молодчики с черной совестью в

памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни (аплодисменты). А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора».

И всё это — обратите внимание, читатель, — с восклицательными знаками и под сплошные аплодисменты. Не правда ли, весело.

Я надеюсь, что вместе с позорной речью Шолохова историей не будут забыты и эти позорные аплодисменты. Я очень на это надеюсь.

Очень может быть, что законы военного трибунала жестки, и, положим, что «нашим воинам» о гуманизме известно не больше, чем то, что «гуманизм — это отнюдь не слюняйство». Пусть так. Но что тем самым хотел сказать оратор? Может быть, М. Шолохов не может представить себе советское государство иначе как в виде военной казармы, а Синявского и Даниэля он хотел бы, в свою очередь, выставить как предателей, вдруг появившихся в одном из подразделений этого государства-казармы, а именно — в Союзе советских писателей. Тогда всё ясно. Тогда «нашим воинам», знающим о гуманизме только то, что «гуманизм — это отнюдь не слюняйство», и поступить вполне мыслимо соответственно, руководствуясь не нормами какого-то там кодекса, пригодными разве что только в условиях демократического государства, а нормами военного законодательства, специально для казарм и писанными.

То ли дело в «памятные двадцатые годы»! Расстреляли бы, «руководствуясь революционным правосознанием», и весь разговор! А тут и судил-то не военный трибунал, а обыкновенный гражданский суд, и ведь даже не расстреляли (как это было в памятные двадцатые и в еще более памятные тридцатые годы), а получили-то всего лишь семь и пять лет лишения свободы за проявление творческой самостоятельности в литературной работе и за попытку напечатать свои произведения за границей, ибо в сегодняшней России свобода творчества и свобода печати гарантированы только на словах, а на деле гарантировано только административно-полицейское издевательство над всякой свободой.

Михаил Шолохов отнюдь не случайно сползает на административно-полицейские аналогии, ярко обнаруживая при этом свое административно-полицейское мышление, несколько взрыхленное эксцентричной болтовней, впрочем, естественной для неумного беллетриста и вполне допустимой в устах обласканного вла-

стью самоуверенного карьериста, столь продолжительное время спекулировавшего на революционно-гуманистических взглядах партии, народа, советского человека, в то время как «революционно-гуманистические взгляды партии» перестали быть гуманистическими, народ был низведен до скотского состояния, а мифический советский человек не удался в той же мере, в которой не удалась и сама советская власть.

Шолохов не хочет видеть действительности там, где это ему крайне невыгодно. Там, где истина не в его пользу, он стремится обрядить позорную действительность в красивые одежды. Но так как и одежды-то красивой под руками у него не имеется, то он просто стремится перекричать всех:

«Всё (так уж прямо и всё. — Ю. Г.), что мы строим, создаем, над чем работают наши рабочие, крестьяне, ученые, художники, на что вдохновляет нас наша партия, всё это строится и создается для мира на земле, для торжества свободного труда (а что это такое? — Ю. Г.), во имя идеалов демократии, социализма, братской дружбы и сотрудничества народов. Для человека. Для человечества».

Скажите, пожалуйста, как всё прекрасно! Когда-то Генри Дэвид Торо писал:

«Сколько бы камня ни обтесывала нация, он идет большей частью на ее гробницу. Под ним она хоронит себя заживо».

Вы же, гражданин делегат, хотите нас уверить, что теперь дело обстоит совсем иначе. Но позвольте с вами не согласиться. И, пожалуйста, не сползайте на сталинский афоризм: кто не с нами — тот против нас. Позвольте опять же ответить вам словами Генри Торо:

«Все эти башни и монументы напоминают мне одного здешнего сумасшедшего, который задумал дорыться до Китая и так глубоко ушел в землю, что уверял, будто уже слышит звон китайских горшков и кастрюль. Но я вовсе не склонен идти любоваться выкопанной ямой».

Сползая на военно-казарменные аналогии, М. Шолохов выдает себя с головой, обнаруживая психологию литературного кантониста. Между прочим, некоторые словари дают такое толкование слову «кантонист»:

«Солдатские сыновья в крепостной России, с самого рождения принадлежавшие военному ведомству на основе крепостного права».

По-моему, комментарии излишни.

То, что Шолохов мыслит Россию как единый всеобщий кантон, где люди с самого рождения принадлежат военному ведомству на основе крепостного права, и то, что, в представлении Шолохова, Союз советских писателей является одним из подразде-

лений этого кантона, еще можно как-то понять. Однако совершенно непонятным является обвинение Синявского и Даниэля в предательстве, выдвинутое Шолоховым в его речи. Ведь Синявский и Даниэль в Шолоховские кантоны никогда не записывались и никогда не давали присяги на верность военно-казарменным законам. Они никогда не клялись в верности военно-полицейской машине, которая по сей день занимается удушением свободы в России.

Но истина не интересует Шолохова. Ему просто нужно обвинить Синявского и Даниэля в предательстве. Почему? Вероятно, потому, что у государственного обвинителя не хватило для этого морального авторитета. И вот, бросив на чашу весов всю массу своего авторитета, Нобелевский лауреат произносит свою позорную прокурорскую речь.

Сначала он скромно объявляет себя «частицей народа великого и благородного», потом «сыном могучей и прекрасной Родины» — матери. Далее частица активизируется: нападает прежде всего на «омерзительных уродов» и, встав в позу потрясенного до глубины души благородства, патетически восклицает: «Мне стыдно за тех, кто оболгал Родину и облил грязью самое святое для нас. Они аморальны.» Дальше — больше. «Частица» стыдит всю передовую интеллигенцию, которая пытается «брать их под защиту». «Частица» стыдит «вдвойне» либеральных литераторов, предложивших «свои услуги» и обратившихся «с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев».

Видите ли, «слишком дорогой ценой досталось нам то, что мы завоевали, слишком дорога нам советская власть, чтобы мы позволили безнаказанно клеветать на нее и порочить ее». Да, да — именно так! Миллионы замученных и убитых людей в сталинских лагерях уничтожения — это слишком дорогая цена за Шолоховские казармы, в которых свободно можно только пальцем в ботинке пошевелить, потому что этого-то уж фельдфебель не заметит. О чем, кстати, Синявский с Даниэлем и писали.

По Шолохову, Синявский с Даниэлем клеветники, которые оболгали Родину и облили грязью все святое для нас. Но вот что пишет один из русских писателей в своем «Письме старому другу»:

«Подумай, старый товарищ! В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей.

Ибо что такое клевета? И ты и я, мы знаем оба сталинское время —

лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаившись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. До каких пор! Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которого начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, что для сталинского времени *понятие клеветы не может быть* применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались...

...Повесть Аржака-Даниэля «Говорит Москва», с его исключительно удачным гоголевским сюжетом «дня открытых убийств», вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не «день открытых убийств», а двадцать лет открытых убийств».

Не правда ли, читатель, сильно сказано?! Но к этому надо бы добавить, что понятие клеветы не может быть применено также к политическому режиму, при котором полностью подавлены основные демократические и личные свободы.

Бессовестно оклеветав мужественных и благородных людей, пристыдив всех смелых и честных людей, которые встали на защиту справедливости, Шолохов на этом не успокоился. Чувствуя, вероятно, свою ничтожность в безнадежной борьбе с истиной, он обратился за помощью к делегатам от «парторганизаций родной Советской Армии», объявляя расправу с предателями по законам военного трибунала образцом, достойным подражания в случае расправы над литераторами. Но и этого оказалось мало, и «частица великого и благородного народа» восклицает: «Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни», «эти молодчики с черной совестью», если бы их судил не суд, а скажем, ревком, «руководствуясь революционным правосознанием».

Вот уж поистине патологическое мышление! И я бы сказал, социально-опасное.

Итак, военный трибунал не судил.

Ревком, «руководствуясь революционным правосознанием», не расстрелял. «А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора».

Видите ли, еще рассуждают! Смеют рассуждать! Ну не мракобесие ли это, читатель?

«Я, — заявляет Шолохов, — принадлежу к тем писателям, которые как и все советские люди, гордятся, что они малая частица народа великого и благородного».

Вы, гражданин Шолохов, уже не писатель, вы были когда-то посредственным беллетристом, но вы уже давно и таковым не яв-

ляетесь. Теперь вы самый обыкновенный политический демагог и при этом дурно воспитанный и не очень умный. Теперь вы просто медалист, прикрывающий своим сомнительным авторитетом кучку обанкротившихся политиков. И не примазывайтесь к величию и благородству русского народа. Вы позорите и его величие и его благородство. К сожалению, таких писателей, присосавшихся к изможденному телу России, еще много.

Ведь уже невозможно всерьез принимать ваше писательство, когда вы говорите:

«Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом — осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас свято».

Вот уж поистине грязь из лужи!

Ну можно ли придумать большее издевательство над русским языком, можно ли более осквернить его! Можно ли более утратить чувство этого языка! Когда подобное несчастье (в смысле чувства языка) случилось с В. Маяковским, так он перестал говорить. Вы же можете еще попытаться. Для вас, быть может, не все еще потеряно. Только очень не советую вам пользоваться таким русским языком и говорить столь вздорные вещи. Иначе от вас отвернутся не только читатели, но и ваши хозяева — обладатели «денежного мешка». Ведь они покупают только то, что имеет хоть какой-то спрос на международном и внутреннем рынке. А в том, что на ваших сомнительных достоинствах спекулируете и вы и ваши хозяева, ни у кого нет никаких сомнений.

Ваша позорная речь на XXIII съезде КПСС не будет забыта историей. Это безусловно. Но эта ваша прокурорская речь не будет оставлена без внимания и современниками. Если бы вы просто говорили вздор, то об этом можно было бы только сожалеть. Однако ваша прокурорская речь не может быть оставлена без внимания современниками потому, что в ней вы как бы санкционировали расправу над двумя литераторами, выразителями стремительно развивающейся в настоящее время в России тенденции к творческой свободе и возрождению национальной культуры.

Процесс над Синявским и Даниэлем показал, что русская культурная интеллигенция разделилась на два лагеря, и что в лагере сторонников свободы творчества оказалось абсолютное большинство интеллигенции. Если бы не гиря государственного наси-

лия, то чаша весов перевесила бы мгновенно, и Синявского с Даниэлем просто на руках вынесли бы из зала суда.

События показали, что никакие клеветнические статейки в официозной прессе (между прочим, полностью зависимой от «денежного мешка») не в состоянии были дискредитировать обвиняемых. Письма в защиту Синявского и Даниэля непрерывно поступали в официальные организации и редакции газет. Каждый честный литератор и ученый считал своим долгом высказаться в защиту обвиняемых. Дело дошло до открытой студенческой демонстрации на площади Пушкина 5 декабря. А знаете ли вы, что все это означает? Это означает, прежде всего, то, что у людей, вроде вас, нет под ногами никакой социальной почвы, кроме аппарата насилия. Это означает также и то, что из-под ног аппарата насилия уплывает почва. Это означает, в свою очередь, что ни вам, ни аппарату насилия не на чем будет стоять, как только в России будут восстановлены свободы. Это означает, что аппарат насилия будет лишен силы и «денежного мешка», а вы — денег, почестей, медалей отечественных и международных тоже. Вот что все это означает. Вот в каком смысле ваша позорная речь не останется без внимания современников и не будет забыта историей.

Если в сфере социальной процесс над Синявским и Даниэлем способствовал поляризации сил, в результате чего на одном полюсе оказались ценности, а на другом — практически близкое к нулю их отсутствие, то в сфере литературной процесс создал фокусирующий момент. Этот процесс мертвым узлом связал и сконцентрировал в одной точке натянутые нити противоречий нашей литературной жизни. И пусть никто не думает, что о деле Синявского и Даниэля поговорят-поговорят и забудут. Этот узел придется развязывать или рубить. Это придется сделать, потому что придется или обеспечить в России свободу творчества, или Россия эту свободу творчества сама себе обеспечит. Это случится, потому что без свободы вообще и без свободы творчества в частности дальнейшее успешное развитие России невозможно. Это придется сделать или это сделается само, какие бы препятствия тому ни чинили, закатывая время от времени социальные истерики те, у кого почва уходит из-под ног. Этот гордиев узел придется развязать или найдется Александр Македонский, который его разрубит.

Вы в своей речи на XXIII съезде КПСС сказали, что вам

«Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев».

Мне тоже стыдно. Пусть просьба о поруках всего лишь так-

тический шаг некоторой части либеральных литераторов. Пусть. Но как только язык мог повернуться просить взять на поруки людей, честность и благородство которых не подлежит никакому сомнению, творчество которых сделало бы честь отечественной литературе. Просить взять на поруки Синявского с Даниэлем — это все равно что просить взять на поруки справедливость и талант. Да ведь это же такое нищенство духа, такая затурканность и такая плебейская робость, мыслимая разве что для страны, в которой почти начисто умерщвлено человеческое достоинство. Вот уж поистине волосы встают дыбом от стыда! Во всякой другой стране, где на деле, а не на словах, были бы обеспечены элементарные демократические свободы, люди бы просто требовали освобождения обвиняемых и протестовали против произвола властей. Если бы дело происходило в демократическом государстве, известная часть литераторов в знак протеста просто вышла бы из «Союза советских писателей» и образовала другой Союз, скажем, «Союз российских писателей». А у нас, видите ли, пишут жалостливые письма и спрашивают разрешения у насильников взять на поруки свободу и справедливость, как каких-нибудь мошенниц.

Это протест пока еще рабов, но уже протест. Это пока еще рабье, но уже движение защитить свободу и справедливость.

Правда, члены ССП — это далеко не показатель действительных возможностей русской творческой интеллигенции. ССП — это всего-навсего только Шолоховское подразделение-казарма, посредством которой «денежный мешок» покупает и умерщвляет таланты прямо на корню. Таким образом, за несколько десятков лет удалось умертвить русскую литературу полностью. Только некоторых непокорных пришлось затравить или физически уничтожить в двадцатые, тридцатые и пятидесятые годы.

Всякому понятно, что значит уничтожить литератора физически, но далеко не всякий понимает, как протекал в России процесс умерщвления литературы. Россия в этом отношении оказалась оригинальной страной. Своеобразие заключалось в следующем. Писатель находится под гипнозом всеобщего обаяния коммунистическими идеалами, с одной стороны, а с другой стороны, он совершенно не может принять отвратительную коммунистическую действительность с ее сталинскими концлагерями и всеобщей вздорностью. Коммунистические концлагеря мешают ему воспевать коммунистические идеалы, а коммунистические идеалы мешают критиковать коммунистические концлагеря. Наступает или состояние творческого паралича, или писатель начинает мо-

шенничать; в том и другом случае он умирает как литератор. Всё очень даже просто. И если, например, М. Шолохов сделает небольшой экскурс в собственное прошлое, то ему придется признать, что этот творческий паралич и его не миновал, чем, вероятно, и объясняется столь длительное писание второй части «Поднятой целины», со всеми ее мошенническими недостатками.

К сожалению, на Западе находятся люди, которые склонны думать, как, например, всеми уважаемый секретарь «Европейского сообщества писателей» Вигорелли, что в СССР подпольная литература, если она и существует в виде случайных рукописей, листовок и т. д., никакого значения не имеет, что главное — это произведения, которые опубликованы, «литература, действующая при свете дня, с ее победами и поражениями».

Вигорелли должен знать и понимать предмет, о котором он говорит. Союз советских писателей и официальная публикация произведений в современной России умерщвляют литераторов и литературу, портят вкусы и оглушают читателей.

Литература — это в конце концов специфический и, кстати, самый доступный и самый эффективный способ познания мира, способ воспитания чувств и формирования психологии. К счастью для России, современная Россия почти не читает современной отечественной политической и художественной литературы, или, если и читает, то с большой осторожностью. Иначе оглушение и притупление чувств было бы всеобщим. В России читается, в основном, классика, отечественная и зарубежная, переводная современная зарубежная литература, и только с начала шестидесятых годов мы массово начали читать Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Хлебникова, Мандельштама, Булгакова, Платонова и т. д., но не благодаря, а, наоборот, вопреки ССП и официальным публикациям, почти нелегально, почти под страхом административного и морального осуждения и часто даже под страхом прямой судебной расправы. Ведь и до сих пор большинство произведений этих писателей официально не опубликовано.

Если хотите знать, в России шестидесятых годов машинописная перепечатка лучших образцов современной отечественной литературы достигла, вероятно, беспрецедентных масштабов. Как раз подпольная литература, т. е. официально неопубликованная, начиная от неопубликованных писателей двадцатых годов и кончая произведениями А. Синявского и Ю. Даниэля, имеет для нашей национальной культуры первостепенное и единственное значение. И, наоборот, вся опубликованная советская литература (исключая случайную публикацию некоторых единичных про-

изведений) для пробуждения национального самосознания и национальной культуры никакого положительного значения не имеет. И если кто-то на Западе думает, что творчество литераторов, вроде Евтушенко и ему подобных, имеет хоть какое-то влияние на развитие новейшей русской литературы, то он глубоко ошибается. Все это настолько незначительные и настолько сомнительные ценности, что вполне допустимо поставить вопрос: а есть ли здесь ценности вообще и можно ли надеяться на их появление хотя бы в будущем? Я лично думаю, что настоящие литературные ценности будут возникать, минуя организации вроде ССП и официальные публикации до тех пор, пока не будет восстановлена свобода творчества, свобода печати и организаций.

Процесс над Синявским и Даниэлем лишний раз убедительно доказывает это. Хотя бы уже потому Вигорелли неправ. Но всякому, кто думает так же, как Вигорелли, необходимо объяснить, что до тех пор, пока в России не будет обеспечена на деле свобода творчества, свобода слова и свобода печати, литература может развиваться, только минуя душегубки вроде ССП и официальные публикации, т. е. подпольно, ибо других возможностей у нее нет. А «при свете дня» в сегодняшней России может развиваться только мошенническая литература, начиная от примитивизма Михалкова (между прочим, он заявил: «Хорошо, что у нас есть органы госбезопасности, которые могут оградить нас от людей вроде Синявского и Даниэля») и кончая более утонченными, модными псевдописателями и псевдопоэтами, получившими наконец-то возможность говорить полуправду и, таким образом, более утонченно симулировать истину. Такая литература, которая во главе с Михалковым просит органы КГБ «оградить ее» от всяких проявлений творческой свободы, если она даже и имеет значение, то разве что только отрицательное.

Но если С. Михалкову перед натиском возвращающегося, национального самосознания достаточно укрыться за спиной КГБ, то, например, С. В. Смирнову для этого непременно нужна диктатура. И вот он, с графоманской неуклюжестью, поспешно придумывает несколько строчек:

«Я могу сказать определенно,
это стало видного видней,
что понятие «пятая колонна»
не сошло
с повестки наших дней...
И когда смердят сии натуры

и зовут на помощь вражью рать,
дорогая наша диктатура,
не спеши слабеть
и отмирать!»

Для насильственного утверждения своей идеологической состоятельности фашизм непременно нуждается в фашистской диктатуре. Идеология марксизма (да будет вам известно, господин С. В. Смирнов) показала свою жизнеспособность даже в странах с антикоммунистическим режимом, а в условиях, например, итальянской, французской или японской демократий она даже пользуется широкой популярностью. Но по Смирнову, для торжества марксистской идеологии, видите ли, непременно нужна диктаторская дубинка именно в стране, где эта идеология является официальной и единственной. Как странно всё это, не правда ли?

Логика данного противоречия приводит нас к выводу, что С. В. Смирнову диктатура нужна не для того, чтобы защитить марксистскую идеологию, а для того, чтобы средствами диктатуры защитить интересы людей, эксплуатирующих ценности этой идеологии, опощающих и дискредитирующих ее, к числу которых безусловно принадлежит и он сам. Здесь, разумеется, без диктатуры никак нельзя, здесь «или пан или пропал». Да это же просто страх за собственную шкуру. Это же визг литературной проститутки, насмерть перепуганной угрозой закрытия публичного дома. Это желудочный страх откормленного борова, в хрюканье которого никто более не нуждается. Это в конце концов страх респектабельной литературной шлюхи перед наступлением всеобщего торжества нравственности.

Дайте этим жуликам рычаги диктатуры и она будет подлее сталинской. Они зарежут и задушат всё живое. Они обесценят и вытравят последние крупницы марксистской мысли. Да будет известно С. В. Смирнову, что диктатура пролетариата (а не диктатура Сталина или Смирнова) имеет целью создание равных возможностей для всех и является средством принуждения к нравственности и справедливости в отношениях между людьми и коллективами людей, а не наоборот. Такая диктатура пролетариата была бы смертельна для Смирнова, а проблема «пятой колонны» была бы просто невозможна в условиях такой диктатуры. Так что не придумывайте «пятых колонн», господин С. В. Смирнов, и не требуйте диктатуры на собственную голову, а то смотрите,

вы ее получите, к тому же она может оказаться действительно смертельной для вас.

Сегодняшняя литературная Россия похожа на спящую красавицу, которая только-только очнулась от идеологического гипноза и даже не успела как следует протереть глаза, а секретарь «Европейского сообщества писателей» заявляет: не обращайтесь на нее никакого внимания, главное — это литературные мошенники и спекулянты с их пирровыми победами. Но сама жизнь опровергла Вигорелли. Подпольное творчество Синявского и Даниэля заставило его приехать в Москву защищать это подпольное творчество.

Да, у нас правая рука еще в кандалах, а на левой еще не зажили кандалные раны! Творчество Синявского и Даниэля — это пока еще творчество одной левой руки. У России еще будет возможность с изумлением прочитать настоящие произведения литературы, включая будущие произведения Синявского и Даниэля, если их талант выживет в лагерях уже несталинского типа.

В России так явно идет процесс становления настоящей литературы, а в это время западная культура лебезит перед М. Шолоховым, присуждая ему Нобелевскую премию. И получается, что секретарь «Европейского сообщества писателей» со своей колокольни, а наш Нобелевский лауреат со своей звонят во все колокола, что подпольная литература в России никакого значения не имеет.

Сейчас западная культура сожалеет о присуждении Нобелевской премии М. Шолохову. Но о чем западная культура думала раньше? Ведь разве не ясно было, что Шолохов, возможно, создал в сущности одно серьезное произведение — «Тихий Дон»? И разве не было ясно, что его творчество всегда являлось лишь литературным отростком той идеологии, которая убивала литературу в двадцатые, тридцатые и пятидесятые годы, и которая пытается душить ее сейчас. И вот, пожалуйста, литературный отросток идеологии, умертвившей отечественную литературу, увенчанный Нобелевской премией, с удвоенной энергией принимается за дальнейшее ее умерщвление, посмеиваясь над наивными представителями западной культуры, мол, «с этим уже привыкли считаться», «именно это и уважают всюду». Разве это не так? Разве позорная прокурорская речь Шолохова на XXIII съезде КПСС — это не посягательство на свободу творчества?

В самом деле, нельзя же всерьез считать представителями современной русской литературы людей типа С. В. Смирнова и С. Михалкова, когда один из них тянется к диктаторской дубин-

ке, а другой выкрикивает проклятья, спрятавшись за спиной КГБ. И дико вообразить себе, что весь «Союз советских писателей», как гнилой гриб, набит подобными червяками. Да тот же Комитет государственной безопасности представляет собой в настоящее время несравненно более серьезную организацию в деловом и даже нравственном отношении. В настоящее время КГБ как орган государства выполняет возложенные на него определенные специфические функции по охране государственной безопасности и по поддержанию объективно существующего в стране правопорядка, независимо от того, насколько это государство и этот правопорядок соответствует нормам нравственности и справедливости. А то, насколько идеально это соответствие, казалось бы, должен выявлять и показывать обществу именно «Союз советских писателей» как организация, по своей социальной, этической и эстетической сущности для этого и предназначенная. Но, ей-Богу, для отечественной литературы было бы гораздо безопаснее переместиться из Союза советских писателей прямо в КГБ, в архивах которого она, на мой взгляд, только и существует. Это, по крайней мере, имело бы еще и то драгоценное преимущество, что государство было бы избавлено от мучительной необходимости расходовать колоссальные народные средства на издание никому не нужной макулатуры. Ведь докатиться до такого нищества, когда Ленинскую премию (высшую отечественную премию по литературе) просто некому дать — это уже слишком большой позор для великой России.

Очень хорошо, что секретарь «Европейского сообщества писателей» приехал в Москву защитить свободу творчества в России. Но чтобы способствовать развитию творческих возможностей современной молодой литературы, совсем не нужно ждать случая, когда обнаглевший жандарм потащит в тюрьму очередную жертву. Современной молодой русской литературе необходимо систематически оказывать организационную, техническую, моральную и материальную поддержку. Западная культура не должна оставлять без внимания даже самые незначительные проявления произвола и насилия по отношению к представителям русской литературной интеллигенции. Западная культура должна помнить, что в современной России литератор обречен на безграничный произвол властей. За 40 лет *несоветского* режима было достаточно много прецедентов, чтобы на этот счет ни у кого не оставалось никаких сомнений. Я надеюсь, что в этом вопросе никого не повергнет в сомнение грозный окрик Нобелевского лауреата с трибуны съезда:

«Мне бы хотелось сказать и буржуазным защитникам пасквилянтов: не беспокойтесь за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем съезде».

Творческая интеллигенция Запада уже достаточно твердо заявила Шолохову свое категорическое *non possumus*. Я же хочу напомнить Нобелевскому лауреату знаменитые слова Эзопа: „*Hic Rhodus, hic salta*“, а не морочьте нам голову чудесами на острове Родосе.

Никак не можем верить, гражданин Шолохов, мужики сумлеваются. Вот ежели землицы дадут и пшеничку не будут отымавать, тогда може ишо как... Не правда ли, гражданин Шолохов, кулацкая философия? Только в смысле удара кулаком по хребту обнаглевшего жандарма.

Да, да, Михаил Александрович, всем известно, что вы не можете не поддерживать критики. Только кто эти всемогущие «мы», которые сначала эту критику измордовали, а теперь поддерживают ее, чтобы она не упала замертво?

Я иногда думаю, гражданин Шолохов, откуда такое хамство в ваших многочисленных высказываниях? Мне думается, что ваша самоуверенность исходит из ложной уверенности в правоте своего дела. Вы все еще считаете себя «выразителем революционно-гуманистических взглядов партии», вместе с которой вы якобы являетесь единственными ортодоксальными защитниками идеи социальной справедливости. Вы, вероятно, чувствуете себя хоть и бесцеремонным, но все же защитником справедливости. Только вы защищаете людей, которые эту социальную справедливость предали, или, по крайней мере, служат ей настолько отвратительно, что их давно уже пора гнать вместе с их кровавым прошлым и обескровленным настоящим. В самом деле, до каких пор будет сохраняться положение, когда целая нация должна плясать под дудку одного тирана или нескольких дураков, унаследовавших почти все его повадки.

Вы в свое время не вели борьбу против тирана и сейчас вы защищаете его наследников, а я всегда защищал справедливых борцов против тирании и против тиранов, эту тиранию унаследовавших. И если вы, действительно, на деле, а не на словах «поддерживаете и развиваете» до полусмерти затираненную критику, то я смею рассчитывать на вашу помощь, когда мой скромный вклад в дело развития этой критики встретит не поддержку, а административно-полицейскую дубинку, как это, например, случилось с А. Синявским, написавшим превосходную статью о социалистическом реализме. Я надеюсь исключительно на ваш ав-

торитет великого медалиста, ибо больше мне не на что надеяться. Ведь в сегодняшней России нет ни свободной прессы, ни свободных организаций, ни свободного суда — в сегодняшней России все подчинено произволу власти.

Я, конечно, надеюсь на вас, но сам себе думаю, что очень уж надеяться на вас не следует. Поэтому я, на всякий случай, поставлю под этой статьей не свое подлинное имя, а псевдоним. Только вот какой бы мне псевдоним выбрать? Никогда раньше не думал об этом. Ну да вот поставлю хотя бы

Ю. ГАЛАНСКОВ

Ищи свищи меня после этого. Оно, знаете ли, так спокойнее. Я, видите ли, по слабости здоровья должен стараться избегать всякой судебной и административной расправы, да и здоровье моей матери для этого слишком слабое. А потом ведь еще что — пугают неприятности по службе и по месту учебы, хотя, конечно, каждый гражданин моей Родины имеет конституционное право на труд и на образование. В том же, что я честный гражданин Великой России, надеюсь, лично у вас нет никаких сомнений.

Потом опять же, в лагерях Мордовии, где сейчас, между прочим, находится А. Синявский, при всем его уме и огромном таланте литературного критика и художника, нет никакой возможности заниматься ни литературной критикой, ни художественной литературой. Знаете ли, в лагерях Мордовии литератору, как какому-нибудь уголовному преступнику, приходится выполнять изнурительную физическую работу, есть впроголодь, иметь право только после половины срока (но не раньше) два раза в год (но не чаще) получать продуктовые посылки, каждая из которых должна весить 5 кг (но не более). Не правда ли, это очень умно и гуманно, особенно если о гуманизме знать только то, что «гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство». И представьте себе, в лагерях Мордовии, впрочем, как и во всех тюрьмах и лагерях, где находятся именно политические заключенные, нет никакой возможности заниматься проблемами национальной культуры и политики, вьетнамской войны, реваншизма, разоружения и мира, а я, знаете ли, убежденный социал-пацифист и, сами понимаете, не нуждаюсь ни в каком насилии.

И еще, между прочим, я подпольный литератор в смысле человеческого подполья, как оно выявлено в произведениях Ф. М. Достоевского. Очень советую прочитать. Начать можно с какой-нибудь критической литературы по этому вопросу. Судя по вашему выступлению на съезде, сразу Достоевского вам не осилить. А знаете ли вы, опять же между прочим, что такое под-

польный литератор? Подпольный литератор, да еще социал-пацифист, это вам не подпольный миллионер. Он даже собственной пишущей машинки не имеет, я уж не говорю о деньгах. Подпольный литератор — он работает то обыкновенным рабочим ради куска хлеба, то обыкновенным литератором, подпольно, т. е. с оглядкой, вроде бы как боится, что ему вдруг могут помешать. Да и действительно, черт её знает, эту власть: то ли она в самом деле думает исправлять свои ошибки, то ли она того и гляди завернет такое, что даже стыдно за нее. Сами понимаете, очень трудно подпольному литератору, а здесь еще сочиняй какую-нибудь статью по поводу выступления какого-нибудь всеми уважаемого медалиста, угрожающего затормозить расцвет национальной культуры и отбросить развитие России на несколько десятков лет назад. В конце концов подпольный литератор — обязательно гражданин Родины и человек чести, поэтому он никак не может пройти мимо издевательств над своей Родиной и над ее лучшими сынами.

Между прочим, могу сообщить вам и адрес своего псевдонима:

*Москва Ж-180, 3-й Голутвинский пер., д. 7/9, кв. 4
Галансков Юрий Тимофеевич*

1966 год

О РОЛИ НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ЛИЧНОСТИ В ЖИЗНИ ИСТОРИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

ДИСКУССИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ

Я хотел бы сказать о роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива. Чтобы сразу стало ясно, против чего я буду говорить, начну со стихов Коржавина:

Мы сегодня поем тебе Славу,
И поем ее неспроста,
Основатель могучей державы,
Князь московский Иван Калита.
Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл, но не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой творческий путь...

Дальше читать не буду — важна, прежде всего, вторая строфа. Эту модель можно применить к кому угодно — хотя бы к Чингиз-хану. Был он видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть: он приобщил отсталые народы, в том числе русский, к благам передовой китайской культуры. Поэтому поставим памятник Чингиз-хану. И такой памятник сооружен — в КНР.

Попробуем посмотреть, как работает модель, опародированная Коржавиным, на двух академических примерах. Жили-были два императора, один в Индии, другой в Китае — Ашока и Цинь Ши Хуаньди. Оба имели перед собой прогрессивную задачу — объединение страны. Ашока с этой прогрессивной задачей не справился. Он поддался ложной жалости, неправильному гуманизму. Я хотел бы дать более точную характеристику этому гуманизму. Но не могу, потому что в те давние времена еще не было мелкой

Это выступление Г. Померанца является одним из материалов журнала «Феникс 1966». — Ред.

буржуазии. Иначе я бы, конечно, назвал этот гуманизм мелкобуржуазным. Итак, Ашока поддался неправильному гуманизму, не сумел отличить прогрессивных войн от реакционных. Едва завоевав одно царство, он вложил меч в ножны, отказался от всякой войны и, вместо того чтобы посылать за границы свои армии, стал рассылать буддийских монахов, которые несли трудящимся соседних стран реакционный религиозный дурман: «не отымай чужой жизни, не бери того, что тебе не принадлежит, не лги» и т. д.

Зато Цинь Ши Хуан (ди — титул вроде августа) был правильный гуманист. Если враг не сдавался, он его уничтожал; если сдавался — тоже уничтожал. Правда, слова «гуманизм» (по-китайски это звучит «жень») Цинь Ши Хуан не любил, и книги, в которых толковалось про «жень», велел сжечь, а заодно и все другие книги, кроме трудов по сельскому хозяйству, военному делу и гадательных книг. И книгочеев-интеллигентов, толковавших насчет «жень», собрали и перетопили в нужниках или подвергли другим позорным казням. Всех таких интеллигентов оказалось 400 человек. Прослойка еще не успела разрастись, и задача Цинь Ши Хуана оказалась сравнительно простой.

Очистив страну от неправильного гуманизма, Цинь Ши Хуан объединил Китай и основал единое китайское государство на твердых принципах: за доноительство — казнь, за донос — повышение по службе или другое поощрение. Были построены великие стройки древнего Китая, в том числе Великая китайская стена, которая стоит и поныне (ее достраивали и перестраивали, но основа заложена Цинь Ши Хуаном).

Это великолепное государство обладало только одним недостатком: жить в нем было нельзя. Даже Цинь Ши Хуан, создатель системы, не выдержал ее: он заболел профессиональной болезнью прогрессивных деятелей такого типа — манией преследования. Народ тоже не выдержал. Едва Цинь Ши Хуаньди (сын Цинь Ши Хуана) был свергнут с престола, как после короткой смуты воцарилась династия Хань, реабилитировавшая интеллигенцию и интеллигентность. С тех пор китайцы называют себя ханьцами, а китайские императоры в течение 2100 лет стеснялись надевать военный мундир. Только недавно снова вернулась мода на полувойенные куртки. Цинь Ши Хуан вовсе не был безграмотным самодуром. Он действовал на основе строго разработанной научной теории. Истоки этой теории восходят, по-видимому, к Мо Ди, выдвинувшему принцип «все для народа» (на этом основании модисты отвергали искусство и науку как непонятные наро-

ду). Шан Ян придал теории более строгий характер, заменив расплывчатый термин «народ» более точным — государство. Во имя государства предполагалось разрушить все другие архаические институты, например, семью, чтобы семейные связи не препятствовали верности государю. Хань Фэй написал блестящий трактат, в котором человек в руках правительства приравнивался к куску дерева в руках ремесленника. Этот трактат сохранился, переведен на английский и французский языки в серии «Классики Востока» ЮНЕСКО, отрывки можно прочесть в любой хрестоматии. Хань Фэй не сравнивал человека с машиной только потому, что тогда еще не было машин. По существу, его можно считать предшественником кибернетики.

Итак, оба императора были утопистами. Ашока — потому, что видел в человеке только духовное существо, а Цинь Ши Хуан потому, что видел в человеке машину, которую можно программировать с помощью наград и казней. Первую утопию в рамках предложенной схемы надо, по-видимому, назвать реакционной, а вторую — прогрессивной, потому что Ашока опирался на религию (как известно, всегда и везде реакционную силу), а Цинь Ши Хуан — на передовую научную теорию.

Но вот оба они умерли, истлели, и осталось от Цинь Ши Хуана Великая китайская стена, а от Ашоки — надписи, выбитые на скалах: «Я, царь Ашока, завоевал царство Калингу, и убедился, что для этого надо было убить 100000 человек, и сердце мое содрогнулось».

Я не утверждаю, что не надо строить стен. Но я утверждаю, и совершенно серьезно, что память о сокрушенном сердце Ашоки — такая вещь, без которой ни один народ не может прожить.

Теоретическая модель, опародированная Коржавиным, основана на двух предпосылках: 1) нравственный облик человека не имеет большого значения, важны только дела; 2) прогресс всё опишет.

Оба эти предположения можно опровергнуть. Существует не только преемственность дел, но и преемственность нравственной информации, без которой не обходится ни одна традиция. Есть преемственность заколотых, обезглавленных, расстрелянных, ничего не совершивших и оставивших потомкам только свой облик. Заколотые Гракхи воскресли через 2 тысячи лет во Франции, и их облик, овладев умами, стал силой, когда началась революция. Ни жирондисты, ни якобинцы не установили на земле справедливости. Но обезглавленные тени воскресли в коммунарах 71 года, и тени коммунаров снова поднялись на штурм Зимнего Двор-

ца. Признав эту преемственность, советское правительство назвало линейный корабль Балтийского флота «Марат».

Есть такое изречение: «Девушка может петь о потерянной любви, скряга может петь о потерянных деньгах». Я позволю себе сказать, что ни один народ не может сохраниться, если ему не о чем петь. Народы, которым было о чем петь, переносили века угнетения и рассеяния, снова подымались и собирались. А великая Ассирийская держава не смогла подняться после первого поражения и рассыпалась в прах, потому что у ассирийцев не было за душой ничего, кроме культов воинских доблестей, грубой силы солдата. Обо всех этих солдатских державах сказано в летописи: «погибоша аки обре, их же несть ни племени ни наследка».

Перехожу ко второму пункту. Что такое прогресс? Если отбросить оценки, то реальное содержание прогресса — дифференциация. Была амеба, дифференцировалась, возник многоклеточный организм, но вместе с дифференциацией пришла смерть. Амеба, в известном смысле, бессмертна: она делится на две половинки, и обе половинки продолжают жить (если их не убить), а соматические клетки, отдалившиеся от половых, сохранивших бессмертие за счет всего остального, смертны с момента рождения, не могут не умереть. Таким образом, прогресс связан с некоторыми утратами.

То же самое в обществе. Примитивные коллективы удивительно устойчивы, а цивилизация разваливалась одна за другой. Поэтому не всякая дифференциация хороша, а только такая, которая не ведет к распаду, к «совместной гибели борющихся классов». Хороша только дифференциация, в ходе которой перестраиваются и обновляются интеграторы (объединяющие воспоминания, идеи, образы, учреждения). Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывает старые интеграторы. Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли «падением нравов», и это развитие заслуживает названия прогрессивного не больше, чем прогрессивный паралич.

Монтень сказал: «простые крестьяне — прекрасные люди, и прекрасные люди — философы, но все злое — от полуобразованности». Он имел в виду, конечно, нравственную полуобразованность. Крестьянин связан системой табу, мало отличающейся от племенной. Эта система табу — нравственный опыт коллектива — сохраняет отдельного человека, не способного рассуждать, как нравственное существо. Философ — интеллектуально и нравственно развитый человек. В древности говорили: «Мудрому не нужен закон, у него есть разум», или в древневековых терминах:

«Полюби Бога и делай, что хочешь», а полуобразованность — это то, что в Библии названо словом «хам». «Хам» — человек, несколько хвативший просвещения, настолько, чтобы не бояться нарушить табу, но не настолько, чтобы своим умом и опытом дойти до нравственных истин. В двадцатом веке хамство стало очень острой проблемой, и этим оно обязано прогрессу. Массы крестьян были вырваны из патриархальных условий, в которых держались патриархальные табу, урбанизированы. Там, где развитие происходило особенно быстро, в странах центральной Европы, поздно вступивших на путь прогресса и торопившихся догнать и перегнать, рост хамства был особенно грозным. Он поставил под вопрос само существование европейской цивилизации.

В какой мере это было неизбежно? Чтобы подойти к ответу, сравним две соседние страны — Германию и Данию. В обеих формально сохранилась одна и та же знаковая система, в которой высшие моральные ценности были связаны со знаками «Христос», «бессмертие души» и т. п. и т. п. В обеих странах происходило развитие капитализма, но Дания не имела дополнительной нагрузки в виде задачи объединения страны и т. п. Внимание датской интеллигенции было направлено только на то, чтобы просветить народ, а не «воспитывать солдат, способных сражаться с наследственным врагом». Еще во времена Андерсена пастор Грундвик учредил первые зимние университеты культуры, в которых крестьян знакомили со всеми богатствами, созданными человеческим умом, и датский крестьянин, перестав быть патриархальным, становился интеллигентным, а в Германии возникло явление, которое описывалось в тридцатые годы, как взбесившийся мелкий буржуа.

Когда эти взбесившиеся мелкие буржуа оккупировали Данию, фашистская комендатура издала обыкновенный фашистский приказ: «Всем евреям зарегистрироваться и надеть желтые звезды». Обыкновенный приказ. Но дальше началась сказка. Король и королева Дании вышли на прогулку, нацепив желтые звезды. Через полчаса их нацепил весь Копенгаген, через несколько часов вся страна. И пока гитлеровцы соображали, что в этой обстановке делать, всех законных носителей желтых звезд на лодках переправили в Швецию.

Я думаю, что эта сказка со счастливым концом не случайно произошла на родине величайшего сказочника Ганса Христиана Андерсена. Быть может, именно он подсказал королю и королеве поступить так, как ведут себя короли только в сказках, а народу — поступить так, как ведет себя народ в пьесах и сказках Евгения

Шварца, но, к сожалению, далеко не всегда в жизни. В Германии, по-видимому, детей воспитывали немного иначе, чем в Дании. Это — та бабочка Бредбери, на которую второпях наступили.

Я надеюсь, что убедил вас, и вы вместе со мной пришли к выводу, что не всякий прогресс хорош и не всякий прогресс «прогрессивен». И теперь, опираясь на сказанное, постараемся подойти к оценке исторической фигуры, личности, которую все сегодня описывали фигурой умолчания и которую я хочу назвать по имени и фамилии: Иосиф Виссарионович Сталин.

Я хочу поставить два вопроса. Во-первых, был ли Сталин прогрессивным деятелем, во-вторых, куда нас влечет его тень, его облик.

Чтобы ответить на первый вопрос, надо ясно различать мандат, который деятель не может не выполнить, его личный вклад. Сталин получил власть на известных условиях, и пока он не превратил свою власть в абсолютную, не мог ими пренебрегать. Он не мог не проводить индустриализацию, кооперацию сельского хозяйства, не мог не заботиться об обороне страны; любой другой деятель, избранный генеральным секретарем, решал бы те же задачи. Поэтому важно не то, что Сталин делал, а как он это делал. Позволю себе сказать — довольно плохо. В актив Сталину можно поставить только индустриализацию, всё остальное — в пассив. Коллективизация проведена так, что до сих пор приходится ездить из Москвы убирать картошку. Международное рабочее движение Сталин, по мнению крупного международника Эрнста Генри, раскалывал и открывал этим Гитлеру дорогу к власти. Я думаю, мнение Э. Генри стоило бы обсудить. Наконец о том, как Сталин подготовил страну к войне, вы можете прочесть в недавно вышедшей книжке Некрича. Сталин буквально обезглавил армию накануне боев, но дело не только в этом. Кроме писаного мандата — программы партии — Сталин прислушивался к неписаным мандатам, носившимся в воздухе. И по мере того как он укреплял свою власть, эти неписанные мандаты играли все большую и большую роль в его деятельности. Прежде всего это мандат того, что Ленин называл «азиатчиной». Вы помните, наверное, статью «Памяти графа Гейдена»: «Раб не виноват, что находится в рабстве, но раб, который жить не может без хозяина — это холуй и хам». (Поправка с места: «Холуй и холоп».) Можно, впрочем, привести другое изречение, любимое Лениным: «Жалкая нация рабов...» Века татарщины и крепостного права оставили довольно внушительную традицию холуйства и хамства; революция потрясла ее, но с другой стороны, революция выдернула с насижен-

ных мест массы крестьян, превратила целые пласты патриархального народа в массы, потерявшие старые устои и не очень усвоившие новую идеологию. Эти массы вовсе не хотели углубления и упрочнения свободы, да и не понимали, к чему она, свобода личности. Они хотели хозяина и порядка. Таков сталинский мандат № 2.

Третий мандат — это мандат обезглавленной религии. Мужик верил в Бога, и в образах Спаса или Казанской Божьей Матери находил предмет любви и бескорыстного преклонения (корыстные мотивы религиозного чувства я склонен отнести к мандату № 2). Мужики объяснили, что Бога нет, но это не упразднило религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся бога, земного бога, о котором невозможно сказать, что его нет. Он был, был в Кремле, изредка показывался на трибуне и помахивал рукой. Он заботился о том, чтобы волос не упал с трудящейся головы. Он был лучшим другом железнодорожников, физкультурников и балерин.

Чувство, давшее Сталину мандат № 3, само по себе было чистым. Лучше всего его высказали дети:

Я маленькая девочка,
Танцую и пою,
Я Сталина не видела,
Но я его люблю.

Слово «Сталин» здесь легко заменить символом всеблагого, всемогущего, всеведущего существа, источника всех совершенств или, как тогда говорили: «вдохновителя наших побед». Изменится только размер. Каким образом Сталин мог осуществлять три таких мандата одновременно? Не слишком ли сложна наша схема? Но у Сталина был особый талант к лицемерию и, по-видимому, даже к самообману. А история полна примерами исторических личностей, двойственных и двусмысленных.

И. В. Сталин любил себя сравнивать с коронованными особами — с Петром Великим и с Иваном Грозным. Поэтому сравним его в его же вкусе — с Наполеоном. Вот что писал о Наполеоне Тютчев.

Сын революции! Ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:

Бой невозможный, труд напрасный:

Ты всю ее носил в самом себе!..

(Пожалуй, лучше всего было бы вспомнить лаконичную и блестящую характеристику Пушкина: «Мятежной вольности наследник и убийца»). Но это сравнение, конечно, не является ни исчерпывающим, ни точным. Я позволю себе привести еще одно сравнение, также не исчерпывающее и неточное. Снижающее сравнение — с некоронованным деятелем — с Азефом. Азеф был руководителем боевой организации эсеровской партии и агентом тайной полиции. В качестве эсера он организовал казнь своего прямого начальника по полицейской работе — министра внутренних дел фон Плеве. Под руководством Азефа успешно были проведены другие террористические акты.

Примитивный пример дает известный подход, модель подхода к бесконечно более сложному вопросу — об оценке личности Сталина. Азеф совершил дела, которые могли бы рассматриваться как заслуги перед революцией или по крайней мере перед эсеровской партией. Но у провокатора нет заслуг, поэтому вопрос применительно к Сталину можно сформулировать так: был ли Сталин не только идейно (то есть на словах), но и нравственно, всем своим существом, на уровне движения, к которому примкнул. Тогда и в этот период у него могли быть известные заслуги. Или верно то, что написал Ленин в своем завещании: «И. Сталин — нравственно чужеродное тело в руководстве партии». Тогда он просто занял и удерживал с помощью интриг и террора место, принадлежащее более достойному. Тогда в целом он приносил вред, хотя в отдельных частных случаях мог принимать верное решение.

Чтобы ответить на этот вопрос, можно собрать, записать и исследовать свидетельства современников о Сталине — о ссылке в 1917 году и т. д. Кое-что в этом направлении сделано, но слишком мало, и вопрос остается открытым.

Перехожу к следующему. Куда нас влечет тень Сталина. Некоторые товарищи находятся под впечатлением молодости, когда они вставали под кинжальным огнем пулеметов и со словами: «За Родину, за Сталина!» — поднимали солдат. Им кажется, что лозунг «за Сталина» и сейчас значит то же, что он значил тогда, скажем, в 1943 году. В 1943 году я сам кричал: «За Родину, за Сталина — вперед!». В 1943 году «за Сталина» означало «против Гитлера». История не дала нам лучшего выбора. Она поставила целое поколение в положение Панглоса, которому офицер велел выбирать: повешение или пройти сквозь строй. Сколько Панглос ни возражал, что ни тот, ни другой вариант не отвечает его выбору, офицер оставался непреклонным. В жизни это было сов-

сем не смешно. В 1937 году, рассказывает в своих мемуарах Эренбург, Николай Иванович Бухарин самовольно выехал в Париж, побродил несколько дней по улицам, подышал воздухом свободы, — ничего никому не сказав; вернулся в Москву; примерно понимая, что его ждет, он не мог остаться. Логика борьбы заставила бы его тогда обличать Сталина, а Сталин уже успел мертвой хваткой вцепиться во власть, и бить по Сталину значило бить по советской системе, а советская система была одним из самых мощных препятствий на пути фашизма. Не потому, что Сталин не любил Гитлера, он, может быть, любил его, но по логике системы, более сильной, чем воля Сталина. И нельзя было производить хирургические операции, бить по советской системе, хотя бы для того, чтобы вылечить ее перед лицом Гитлера. И Бухарин вынужден был молчать, а потом и говорить.

Так было четверть века тому назад, но сейчас «за Сталина!» вовсе не значит против Гитлера, против фашизма. Гитлер — капут, а Сталин умер и разоблачен. Хорошо ли это или плохо — разоблаченный кумир нельзя снова облачить. Можно издать какое-нибудь постановление, но оно будет не более действительным, чем резолюция Николая I по жалобе помещика, дочь которого самовольно вышла замуж: «Брак расторгнуть, урожденную такую-то считать девицей». Сталин, оказавшийся деспотом и убийцей, не может стать снова достойным уважения, не говоря уже о любви. Восстановить уважение к Сталину, зная, что он делал, значит установить нечто новое, установить уважение к доносам, пыткам, казням. Это даже Сталин не пытался делать, он предпочитал лицемерить.

Восстановить уважение к Сталину — значит установить около нашего знамени нравственное чудовище. Этого еще никогда не было. Делались мерзости, но знамя оставалось чистым. На нем было написано: «Ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Около знамени стояли Маркс, Энгельс, Ленин — люди, у которых были человеческие слабости, но люди. О всех них можно сказать словами любимой поговорки Маркса: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Сталина нельзя больше ставить рядом с ними. Это значит — испачкать грязью свое знамя. Надо уметь отделить знак антифашистской войны Сталина от ее значения. Подвиг народа в Отечественную войну 1812 года не стал менее значительным от того, что во главе государства стоял «плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой», и подвиг народов в великой ан-

тифашистской войне не станет менее значительным от того, что во главе государства оказался Сталин.

Некоторых пугает угроза нигилизма, идеологический вакуум. Но доморощенные культуры неспособны заполнить вакуум. Они распадаются, как карточный домик. Одна из важнейших причин вакуума — столкновение религиозного и научного мировоззрений. Тысячелетний нравственный багаж человечества был закодирован в форме, которая называется мировыми религиями. Научное мировоззрение расшатало мировые религии, но оно не могло сходу создать образы нравственной красоты, сравнимые с Буддой или Христом. Это вообще, по-видимому, задача не науки, а поэзии, и процесс, не поддающийся управлению, процесс очень длительный, вековой и даже, может быть, многовековой. Поэтому от красногвардейской атаки на религию мировое коммунистическое движение уже фактически перешло под влиянием событий к другой форме контактов с религией, к *диалогу*, о котором много пишут в «Проблемах мира и социализма». Мне кажется, что диалог с мировыми культурами, в активе которых искусство Баха, Рублева, Данте, — более достойный путь, чем восстановление культа деспота и убийцы. По пути диалога мы можем соединить силы всей интеллигенции и принести народу подлинное просвещение, подлинный смысл (значение) культуры, который не нужно смешивать ни с какими знаками, атеистическими или религиозными. Эта подлинная культура, подлинная интеллигентность — один из самых важных путей к выходу из современного «вакуума».

3 декабря 1965 года

Парапсихология и четвертое измерение

Проблема высшей нервной деятельности, выражаясь языком психологов, или проблема души, выражаясь языком философов, является основной проблемой науки, т. к. в ней кроется разрешение вопроса, что такое человек, а также — что такое вселенная, ибо познание вселенной сводится к изучению ее структуры, функций и законов нашим разумом.

Действительно, анатомическая разница между, скажем, акулой и гориллой очень велика, а между гориллой и человеком минимальна. Человек не имеет ни одного органа, который не имела бы горилла, и даже строение мозга того и другого почти одинаково. Тем не менее, разница между акулой и гориллой в духовном плане сравнительно невелика, в то время как разница между человеческим разумом и разумом гориллы, если вообще о последнем можно говорить, огромна.

Действия гориллы и акулы сводятся к использованию врожденных инстинктов: добычанию пищи, защите от врагов и размножению плюс некоторое количество условных (благоприобретенных) рефлексов.

Человеческий же разум познает, покоряет и переделывает природу, проникает в тайны мироздания и обладает способностью почти не связанного с окружающим миром абстрактного мышления.

Но и в самом человеке органы, обуславливающие его духовную деятельность, резко отличаются от органов обмена веществ, кровообращения и передвижения.

Так, например, важнейший орган обмена веществ — печень — имеет свыше 20 различных функций, проводит сотни самых различных химических реакций. Уже одна функция выработки антител против всевозможных, зачастую не известных не только данному индивидууму, но и всему виду вредоносных орга-

низмов или веществ, вызывает восхищение. Тем более, что вся эта колоссальная химическая фабрика сконцентрирована в каких-то 1 1/2 килограммах живой ткани.

Однако работа печени сводится к выделению посредством определенных реакций нужных для организма веществ. План работы печени заложен в хромосомах человека и передается по наследству. Работа печени в принципе нам понятна.

То же самое можно сказать и о сердце: химическая энергия в нем перерабатывается в электрическую, которая, в свою очередь, обуславливает механическую работу этого органа.

Совсем другое дело — работа мозга. Нам известны законы возбуждения нервных окончаний и проведение нервного возбуждения в периферийной и центральной нервной системе посредством электрического тока в нервной клетке и ее длинном отростке аксоне и перескакивание этих раздражений от аксона одной клетки к древовидным отросткам-дендритам другой клетки с помощью особого раздражающего вещества ацетил-холина. Известно, что и в головном мозгу электрические и ацетил-холиновые импульсы скачут от одной к другой нервной клетке, от одной к другой группе клеток, но на вопрос, каким образом из этих сравнительно простых химических и физических процессов рождается мысль и чувства, современная наука еще не нашла ответа.

Одной из главных гипотез докибернетического периода, объясняющих высшую нервную деятельность, было учение И. П. Павлова о двух сигнальных системах коры головного мозга, где первая система, присущая и животным, осуществляет условные рефлексы на всевозможные воздействия и раздражения внешней среды.

Вторая же система, связанная с приобретением дара речи и образованием языков, составляет совокупность речевых сигналов, которыми обозначаются понятия первой системы и созданные самим человеком абстрактные понятия.

Успехи кибернетики и бионики за последние десять лет привели к конструкции сложнейших «думающих» машин. Известны счетные машины, машины-переводчики с одного языка на другой, машины, руководящие техническими процессами целых заводов, машины-врачи и т. д. Аналогия работы живых организмов и машин как раз и является сущностью новой науки — кибернетики. Основоположник кибернетики американский ученый Винер и его последователи считают, что кибернетика поможет постигнуть высшую нервную деятельность.

Для уяснения аналогии и различия кибернетической и нерв-

ной системы восстановим в памяти схему кибернетической установки.

Эта установка состоит из устройства управления (датчика), управляемого объекта и каналов, по которым циркулирует информация.

Важным элементом кибернетической системы является связь между управляемым объектом и датчиком, передающая информацию о выполнении задания, — так называемая обратная связь.

Информация, получаемая от управляемого объекта, фиксируется в виде особой памяти машины, перерабатывается с помощью специфических для данной кибернетической системы правил, так называемых алгоритмов, которые записываются в виде математических знаков или формул. Отыскание алгоритмов и перевод их в математические знаки является основной задачей конструкции кибернетических машин.

Информация, получаемая от управляемого объекта в виде перфоленты, напечатанного текста, словесной команды, а также физических или химических данных, поступает в вводное устройство, где цифры переводятся в электрические токи соответствующего масштаба, а математические действия совершаются с помощью кратковременных скачков электрического напряжения или силы тока, называемых импульсами.

Эти импульсы фиксируются в так называемой памяти машины (электронных или электромагнитных установках) и параллельно поступают в арифметический узел машины. Последний состоит из триггеров, задачей которых является счет и хранение чисел, и логических ячеек, задачей которых является передача или задержка импульсов, в зависимости от алгоритмов. Как триггер, так и логические ячейки состоят из обыкновенных радиодеталей: катодных ламп, конденсаторов и сопротивлений.

Следующий узел машины — управляющее устройство. В него заранее вкладывают, согласно выработанным алгоритмам, определенные команды. Устройство управления использует материалы памяти, а в более сложных машинах вырабатывает новые команды на основании новых информации. Далее команды попадают в выводное устройство, где они перерабатываются в приемлемую для управляемого объекта форму.

Обмен информацией с внешней средой и поддержание управляемой системы в определенном состоянии характеризуют так называемую организацию системы, т. е. ее устойчивость по отношению к внешним воздействиям.

Уже сейчас существуют машины, имеющие в себе модель

управляемого объекта, на которой они «пробуют» всевозможные решения для нахождения оптимального в каждом особом случае.

Существуют также машины, находящие собственный дефект или поломку и исправляющие их (конечно, не всякую).

При сравнении нервной системы животных и человека с кибернетическими установками в глаза бросается некоторая аналогия.

Зрительные, слуховые, осязательные, температурные и другие информации внешнего мира переводятся периферийными нервными клетками в электрохимические импульсы, которые поступают по центростремительным нервным путям в мозг. Там они фиксируются в памяти в виде энграмм, перерабатываются в отдельных центрах, и в ответ на них устройством управления вырабатывается соответствующая реакция, поступающая по центробежным нервным путям на периферию, а информация о выполнении ответа в свою очередь идет к мозгу по центростремительным путям, осуществляя, таким образом, обратную связь.

Теория обратной связи вошла с развитием кибернетики в физиологию и видоизменила классическое понятие рефлекса.

Вся вышеуказанная работа мозга осуществляется нервными клетками — нейронами. Раньше предполагалось, что в мозгу человека около 10 миллиардов таких клеток, теперь считают, что их значительно больше. Кибернетические машины с таким числом элементов еще не построены, и потому напрашивается вывод, что мозг просто более совершенная и точнее действующая кибернетическая машина.

Однако объем человеческих знаний заставляет предполагать более сложные формы фиксирования и кодирования информации. Так, например, феномен памяти еще далек от полного объяснения. В настоящий момент существуют две основных гипотезы памяти:

1) Теория циркуляций нервного возбуждения по замкнутому пути, состоящему из нервных волокон и клеток.

2) Теория памяти на молекулярном уровне, выдвинутая шведским ученым Х. Хиденем, согласно которой энграммы фиксируются в нервных клетках с помощью рибонуклеиновых кислот (РНК). Кстати, близкие им по составу дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) являются носителями наследственности в генах. Молекула РНК образуется на матрице ДНК, а затем, в свою очередь, служит матрицей для синтеза белка.

Далее, в отличие от думающих машин, человеческий ум способен пользоваться не только уже имеющимися у него категориями и стереотипами, но и находить совершенно новые способы ре-

шения поставленных перед ним задач, находить новые принципы, зачастую разрушающие или отбрасывающие до сих пор существовавшие.

Конструируя кибернетическую машину, человек должен найти алгоритмы данного процесса, перевести их в математическую форму и наконец составить таблицу команд, называемую программой, по которой будет работать машина. Таким образом, принцип решения сначала должен быть найден человеком и уже потом вложен в машину. Абстрактное мышление доступно только человеку. Чувства, вдохновение, интуиция, придающие определенную окраску мышлению и всей высшей нервной деятельности, присущи только человеку.

В кибернетической машине задание дается извне по тем же каналам, что и информация, в то время как у человека имеется центр, дающий задание изнутри.

Иначе говоря, орган, аналогичный пульту управления и сидящему за ним человеку, находится внутри человеческой психики, а не вне ее.

Телепатия и ясновидение, которые в последнее время стали главным объектом изучения новой науки — парапсихологии, также не поддаются механическому объяснению.

Телепатия, т. е. передача мыслей на расстояние, известна давно. На протяжении столетий накоплены обширные, в некоторых случаях подтвержденные многими свидетелями факты телепатии. Отдельные случаи телепатии проявляются и сейчас, так что отрицать это явление как таковое не приходится.

Экспериментальное доказательство телепатии привел американский ученый Райн. Как известно, Райн провел многочисленные опыты угадывания карт, варьируя расстояние между картами и угадывающим. В результате выяснилось, что среднее число удачных угадываний выше, чем следовало бы ожидать по теории вероятности. На основании этого исследования Райн сделал вывод, что телепатия в незначительной мере присуща каждому человеку.

При анализе явления телепатии в первую очередь напрашивается объяснение этого феномена теорией колебаний. Поскольку токи в мозгу все время меняют свое направление, вокруг них образуются электромагнитные поля, которые должны излучать волны, аналогичные радиоволнам. Некоторым ученым удалось уловить «мозговые» волны на расстоянии нескольких метров. При этом характер волн зависел от работы мозга в данный момент.

По теории итальянского невролога Кацамалли, человеческий мозг выделяет метровые, дециметровые и сантиметровые волны.

По теории русского биофизика П. П. Лазарева, мозг излучает волны длиной в 6000 километров.

В шкале электромагнитных колебаний, начиная с фотонов космических лучей, длина волны которых не превышает тысячных долей милимикрона, до длины радиоволн в 30 000 метров, имеются темные места, т. е. колебаний с такой длиной волны в природе не обнаружено.

На основании этого многие ученые считали, что мысли распространяются в виде волн еще неизвестного нам диапазона.

Однако многие факты говорят против этой теории.

Как известно, энергия убывает пропорционально квадрату расстояния от источника этой энергии. А энергия «мозговых» волн минимальна.

Поэтому телепатия должна была бы проявляться тем сильнее, чем ближе друг к другу находятся передатчик и медиум. Райн, основываясь на своих опытах, отрицает влияние расстояния на парапсихологические феномены.

Чувствительный удар по волновой теории телепатии был нанесен ленинградским профессором Л. Л. Васильевым, опубликовавшим в книге «Внушение на расстоянии» (1962) опыты, проведенные им в 1933-36 гг. Во время этих опытов медиум находился в непроницаемой для электромагнитных волн свинцовой камере, крышка которой была дополнительно изолирована ртутью. В такой же камере находился и гипнотизер. Тем не менее последнему удалось усыпить медиума на расстоянии.

Опубликованные в советской научной литературе опыты, при которых металлические экраны все же являлись препятствием для гипнотического внушения, менее убедительны, чем опыты Васильева.

В конце своей вышеуказанной книги (стр. 159) Васильев пишет: «Несравненно больше может дать науке окончательное испровержение электромагнитной гипотезы внушения на расстоянии. Тогда, естественно, встанет вопрос о продукции самой высокоорганизованной материи — материи мозга — еще неизвестного фактора, надо думать, по своей природе энергетического. Из характерных его свойств мы уже теперь можем указать два: распространение на большие расстояния и проникновение через любые препятствия. Такими свойствами обладают потоки частиц нейтрино и всемирное тяготение, но ничто не говорит о том, что эти факторы как-нибудь связаны с работой мозга. Значит, надо искать что-то другое, новое».

Объяснение телепатии с помощью нейтринного поля выдвиг-

гает Е. Парнов в проводимой на страницах журнала «Наука и религия» дискуссии об этом феномене («Наука и религия» № 3, 1966, стр. 48-49).

Так обстоит дело с телепатией. Что же касается пророческого ясновидения, факты которого неоднократно появлялись на протяжении всей истории человечества и были зафиксированы многочисленными свидетелями и документами, то в этом случае материалистическое объяснение совершенно невозможно. Далее, телекинез*), материализация и дематериализация, хотя их существование еще точно не доказано, все же не могут быть отброшены как досужие вымыслы суеверных людей. Здесь следует указать на книгу В. В. Битнера «Верить или не верить», в которой автор (кстати, убежденный материалист) приводит и пытается объяснить такого рода явления. Нужно ли говорить, что объяснения Битнера оказываются довольно малоубедительными.

Нет никакого сомнения, что пророческое ясновидение, телекинез, материализация и дематериализация не только необъяснимы с материалистической точки зрения, но и стоят в противоречии с современной наукой. Остается только или отрицать эти явления, или поставить под вопрос господствующие в настоящий момент понятия пространства и времени.

Именно по второму пути и пошел автор этой статьи, решив объяснить высшую нервную деятельность посредством гипотезы о существовании четвертого измерения.

Предположение четвертого измерения, т. е. измерения, существующего помимо известных нам трех измерений: длины, ширины и высоты (толщины), было сделано ученым Бельтрами с помощью изящного философского построения аналогии между двухмерным миром и трехмерным.

Так, если представить двухмерный мир с длиной и шириной, но без высоты, — т. е. плоскость, и (еще более спекулятивное предположение!), двухмерных существ, населяющих этот мир, то можно сконструировать определенные законы их существования. Эти существа могут передвигаться только на плоскости, обходя друг друга тоже только в двух измерениях. Заключенные в четырехугольник, они не могут его покинуть. Аналогией этих существ в природе являются тени, не имеющие толщины. Двухмерный мир, расположенный на поверхности шара, будет для двухмерных существ безграничен, но не бесконечен.

*) Телекинез — самопроизвольное движение предметов без физического воздействия извне. — В. Ф.

Для этих существ третье измерение является каким-то иррациональным миром, о существовании которого они будут узнавать только при соприкосновении трехмерных формаций с их двухмерным миром. Так, замкнутый четырехугольник для существ третьего измерения открыт с третьей стороны, как и внутренности двухмерных существ.

По аналогии взаимоотношений двух- и трехмерного мира Бельтрами выдвигает гипотезу о четвертом измерении и четырехмерном мире. Наличие четвертого измерения позволяет четырехмерным формациям свободно приходить и уходить из нашего мира с совершенно непонятого для нас направления. Так, геометрически закрытый куб или шар настежь открыт со стороны четвертого измерения и т. д.

В течение нескольких десятилетий эта гипотеза была лишена каких бы то ни было доказательств или подтверждений. Но после создания и внедрения в науку теории относительности, физики вплотную подошли к проблеме четвертого измерения. Современное представление о безграничном, но конечном пространстве логически требует наличия четвертого измерения, в которое как бы вставлена трехмерная вселенная.

Концепция безграничного конечного искривленного пространства является в настоящий момент краеугольным камнем современной физики.

Подобно тому, как плоскость шара для двухмерных существ является безграничной, но конечной, соприкасаясь каждой своей точкой с третьим измерением, так и каждая точка нашего трехмерного мира, будь она в любом месте космоса или внутри ядра одной из клеток нашего организма, соприкасается с четвертым измерением.

Хотя в макрокосмосе уже приходится считаться с наличием четвертого измерения, в биологической плоскости и в микрокосмосе такая попытка еще не была сделана.

Есть другие научные направления, которые подразумевают под четвертым измерением время. Эти направления, по мнению автора, не отвечают запросам современной науки. Например, если считать время четвертой координатой, то как объяснить относительность времени.

В первую очередь под реальным трехмерным миром подразумевается координатное расположение материи в настоящий момент, полная реконструкция прошлого и предвидение будущего в каждый данный момент невозможны. Поэтому время только дан-

ного момента принадлежит нашему трехмерному миру. Прошлое уходит из него, а будущее еще не вошло.

Вообще прошлое и будущее, пожалуй, единственные пока доступные нашему сознанию элементы четвертого измерения.

Кроме того, классическое понимание времени с прошлым, настоящим и будущим поколеблено теорией относительности, которая доказывает, что время течет различно в различных системах.

Еще парадоксальнее становится понятие времени в процессе так называемого гравитационного коллапса, т. е. быстрого сжатия сверхзвезд. Допустим существование двух наблюдателей — А и Б, причем А находится за пределами сжимающейся сверхзвезды и остается неподвижным, а Б движется на одной из частиц сжимающейся материи. Наблюдатель А увидит, что сверхзвезда становится все меньше и меньше, но сжатия ее в одну точку он не увидит. Как только Б пересечет барьер «гравитационной сферы», он навсегда скроется из поля зрения А (гравитационная сфера установлена в 1916 году Карлом Шварцшильдом. Она очень мала, так, например, гравитационный радиус солнца равен примерно 3 километрам, тогда как действительный его радиус равен примерно 700 тысячам километров).

Теперь, возвращаясь к высшей нервной деятельности, необходимо ввести новое понятие так называемого «френокосмоса», т. е. мира человеческой души, который, пожалуй, так же глубок, как и макрокосмос.

Человек — существо не трехмерное, а четырехмерное, во всяком случае, имеющее компоненты четвертого измерения, хотя и заключенное телесно в трехмерном мире. Этим автор хочет сказать, что в строении духовно-физического комплекса, именуемого «человеком», имеются неизвестные нам пока формации четвертого измерения. Назовем их для простоты «Формацией Ч», в противовес трехмерным элементам человека — «Формации Т».

Если, согласно современной теории, каждая точка трехмерного мира соприкасается с четвертым измерением, то это не значит, что каждая клетка человеческого организма соприкасается с «Формацией Ч», т. к. последняя имеет свои границы как в трех —, так и в четырехмерном мире.

Основным стыком «Формаций Ч и Т» является человеческий мозг. Если сравнить его с разобранный нами ранее кибернетической машиной, то «Формацию Ч» можно сравнить с пультом управления. Информация, поступающая извне, перерабатывается в электрические импульсы в нервной системе, но параллельно идет и переработка ее в приемлемую для «Формации Ч» форму. Затем

информация, как бы в двух экземплярах, складывается в отделе памяти «Формаций Ч и Т». Причем, иногда эти два экземпляра отличаются друг от друга: например, воспоминание сознательное и внесознательное. Автор, в отличие от Фрейда, употребляет выражение «внесознательное», а не «подсознательное», т. к. в слове «подсознание» имеется некоторая дискриминация внесознательных элементов. Кроме того, информация анализируется и перерабатывается в органах, аналогичных устройству управления и арифметическому узлу машины. Причем «Формация Ч» дает этой переработке свою окраску и подчиняет анализ более далеким и сложным целям, чем ответ на внешнее раздражение в каждый данный момент. Здесь нужно отметить, что внесознательная память более совершенна, чем сознательная. Так, при особых условиях, о которых еще будет речь, происходит полнейшая реконструкция слышанных когда-то стихов, фраз на непонятном языке, сложных чертежей и т. д.

На рисунке № 1 автор приводит схему высшей нервной де-

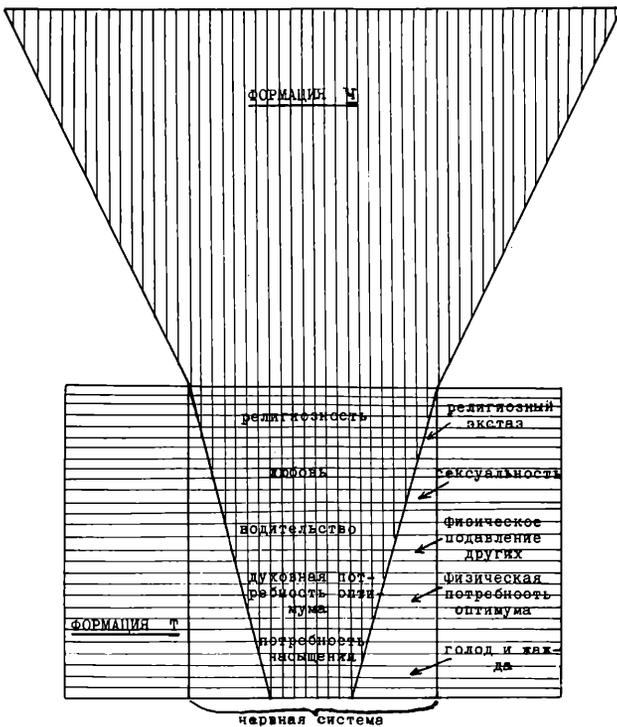


Рис № 1

тельности. Поскольку пространственное изображение духовных явлений невозможно, схема дает очень отдаленное представление о данном предмете.

В своих действиях человек руководится определенными движущими силами и тенденциями, которые охватывают как духовную, так и физическую сторону его существа. Каждая из этих движущих сил имеет духовный и физический аспект с соответствующими промежуточными стадиями. В частности:

религиозность — религиозный экстаз
 любовь — сексуальность
 водительство (стремление вести других, помогать им) — стремление к физическому подчинению других
 духовная потребность оптимума — физическая потребность оптимума
 потребность насыщения — голод и жажда.

В схеме горизонтальной штриховкой изображена «Формация Т», которая в основном представляет физическое тело человека, а вертикальной — обозначена «Формация Ч», верхняя граница которой лежит вне плоскости нашего сознания и вне трехмерного мира. Клетчатой штриховкой (пересечение горизонтальной и вертикальной штриховок) обозначено соприкосновение двух формаций в нервной системе.

Каким же образом осуществляется контакт «Формации Ч» и мозга, если признать, что единственным известным нам языком мозга является чередование электрических и ацетил-холиновых импульсов?

«Формация Ч», вероятно, не имеет материального характера, иначе та ее часть, которая соприкасается с нашим трехмерным миром, могла бы быть обнаружена химическим или физическим способом. Она не состоит из протонов, нейтронов и электронов. Тогда ее воздействие должно иметь энергетический, т. е. волновой характер, иного воздействия мы представить не можем.

В природе имеются примеры излучения и приема электромагнитных колебаний различных диапазонов живыми организмами. Так, нильский длиннорыл имеет электрический орган, который способен создавать ритмические разряды амплитудой около 1-2 вольт. С помощью этого органа осуществляется ориентировка в мутной воде при помощи нервных окончаний, специализированных на ощущение изменения электрического поля окружающей воды. Эти рыбы, например, чувствуют поднесение магнита к аквариуму.

Что касается нервной системы человека, то до сих пор нервные клетки-нейроны рассматривались как проводники раздра-

жения, сравнивались с электрическими проводами, а ганглии (скопления нервных клеток) с логическими ячейками кибернетической машины. О роли нейронов как приемников колебаний не говорилось, т. к. мозг, согласно большинству указанных выше опытов, излучает только очень слабые колебания. В свою очередь сама нервная ткань не принимает никаких колебаний известных нам диапазонов. Исключение составляют органы зрения и слуха, принимающие световые и звуковые колебания.

Однако еще в 1923 году Кожинский выдвинул гипотезу колебательных контуров, составленных из нескольких нейронов.

Как известно, колебательный контур (рис. № 2-а), состоящий из конденсатора k и индуктивной катушки u , является основной деталью радиоприемника.

Если проводить аналогию мозга с электрическими установками, то в мозгу безусловно имеются элементы, аналогичные колебательному контуру. Например, несколько кольцеобразно связанных нейронов, расположенных как на рисунке № 2-б.

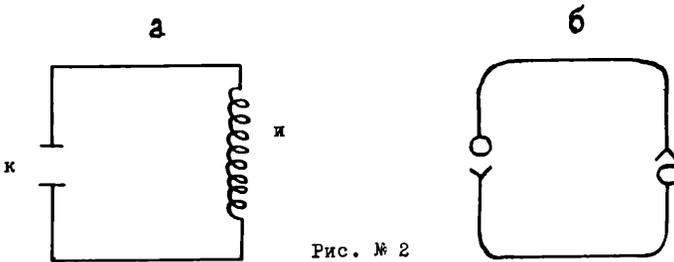


Рис. № 2

Автор считает, что одним из главных назначений этих образованных нейронами колебательных контуров является связь с «Формацией Ч».

В нормальном мозгу определенные нейронные контуры настроены на колебания определенных отдельных элементов «Формации Ч». Во время акта мышления отдельные контуры получают, благодаря состоянию внимания, добавочную энергию, которая усиливает колебания и переводит их в соответствующие электрические импульсы.

Основная масса «Формации Ч» не имеет непосредственной связи с мозгом.

Есть психические заболевания, которые нарушают гармоничность связи с «Формацией Ч», например, шизофрения. При ней большинство контуров захватывается бредовыми, бесцельно цир-

кулирующими импульсами, и контакт с «Формацией Ч» нарушается. Шизофреник в большинстве случаев проходит все стадии от навязчивой идеи до полного нисхождения до животного уровня.

Но в некоторых, не очень редких случаях отдельные колебательные контуры, вероятно, случайно оказываются настроенными на высшие слои «Формации Ч». Этим объясняется, что большой процент навязчивых и бредовых идей шизофреников имеет религиозный характер. Некоторые шизофреники получают дар телепатии или ясновидения.

Здесь автор хочет привести случай, рассказанный одним психиатром. В больнице, где работал психиатр, находилась шизофреничка с резко выраженными антирелигиозными идеями. Упоминание Бога или каких-либо связанных с церковью вещей вызывало у нее приступы, напоминающие эпилептические припадки. Психиатр проделал над ней следующий опыт: он прятал в свой карман пробирку с освященной водой и входил к пациентке, причем она не только не знала об освященной воде, но и не могла видеть пробирку. Все же у нее в каждом случае начинался припадок. Если же в пробирке была неосвященная вода, то припадок не возникал. Тогда опыт был изменен следующим образом: о том, находится ли в пробирке освященная или неосвященная вода, не знал и сам входящий, а пробирки наполнял его ассистент, находящийся в другой комнате. Тем не менее припадок происходил при наличии освященной и отсутствовал, если в пробирке была неосвященная вода.

«В безумии открывается нам загадочная мудрость небес!» — говорит Ибсен словами императора Юлиана. Недаром на протяжении всей истории сумасшедших считали или Божьими людьми или бесноватыми.

Как известно, для шизофрении и родственных ей психических заболеваний характерны зрительные, телесные и, главным образом, слуховые галлюцинации. Голоса, видения и ощущения чьего-то воздействия — часто встречающиеся в психиатрии симптомы.

Но эти же симптомы присущи пророкам, ясновидящим и медиумам. Святой Антоний, Нострадамус, Сведенборг и Тереза Нейманн из Кунейсройта — лишь несколько из многих фигур подобного характера в истории.

Здесь автор хочет остановиться только на одном, но довольно характерном примере, а именно, на шведском мистике Сведенборге.

Эммануил Сведенборг родился в 1688 году в семье епископа и до 1744 года, т. е. до 56-летнего возраста ничего общего с ми-

стикой не имел. Он изучал почти все естественные науки, написал много научных трудов и сделал даже ряд изобретений. В частности, он сконструировал машину, с помощью которой военные корабли Карла XII были перетянуты через скалистый перешеек.

Потом в жизни Сведенборга наступил перелом — он оставил свою службу в Горном колледже, оставил точные науки и углубился в теологию и мистику.

Как мистик Сведенборг прославился в 1759 году, «увидев» из Гётеборга, находящегося на расстоянии пятидесяти миль от Стокгольма, пожар в шведской столице с довольно точными подробностями. Этот факт был зафиксирован многими свидетелями. Он же передал королеве Луизе Ульрике, которая хотела проверить его способности, содержание ее разговора с умершим братом Августом Вильгельмом.

Став ясновидящим, Сведенборг написал несколько книг о своем общении с самыми всевозможными духами умерших, бесами и т. д. Содержание страниц его последних книг трудно отличить от бреда шизофреника. Тем не менее Сведенборг дожил до 86 лет в полном здравии, без признаков распада личности, свойственного последним стадиям шизофрении.

Однако дар ясновидения и телепатии не всегда появляется без видимых причин или в результате психического заболевания. Наоборот, в большинстве случаев, он достигается молитвами, постом и специальными упражнениями. Как пример можно привести наших христианских пустынников и индийских йогов. В обоих случаях физическое воздержание, т. е. подавление плоти, и концентрация мысли являются основным методом достижения духовного совершенства.

С точки зрения нашей теории, эти люди сознательно как бы сдвигают контакты мозга вглубь «Формации Ч», выбрасывая из сознания более низменные чувства. Смотрите рис. № 3. (Стр. 158.)

Каковы же свойства «Формации Ч»? Состоит ли она из какой-то неизвестной нам материи? На этот вопрос в настоящий момент ответить трудно. Спириты утверждают, что кроме физического тела существует еще и так называемое астральное тело, состоящее из особой «духовной» материи, что эта «материя» может выделяться из человека в виде так называемой «ауры», которая в свою очередь может принимать всевозможные формы. Здесь мы должны быть очень осторожны. Современная наука знает свыше восьмидесяти субатомарных частиц, знает самое разряженное состояние материи — фотоны космических лучей и самое сгущенное состояние ее — вещество небесных тел, называемых «белыми

карликами», где атомные ядра почти прижаты друг к другу, так что один кубический сантиметр такого вещества весит десятки тонн. Но ничего аналогичного ауре или астральному телу обнаружить не удалось.

С другой стороны, то, что лежит вне нашего трехмерного мира, не достижимо ни для каких трехмерных приборов. По-видимому,

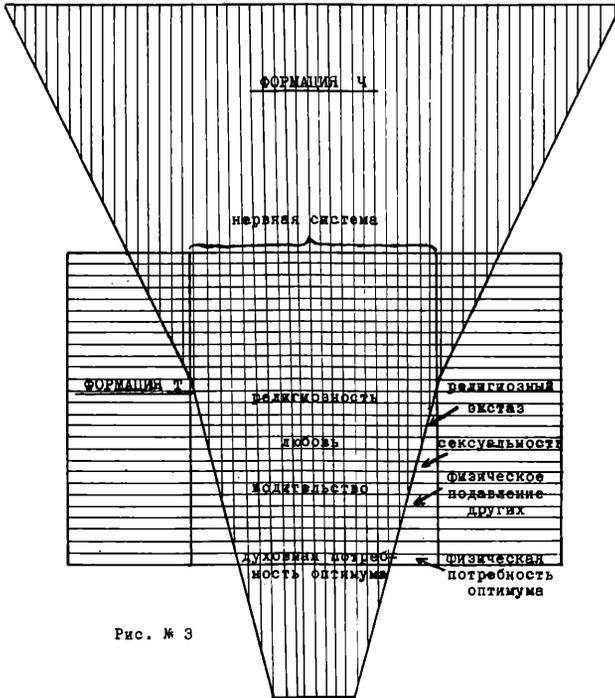


Рис. № 3

«Формация Ч» в функциональном отношении очень похожа на мозг. Она так же принимает, перерабатывает и хранит информацию. Но не только информацию трехмерного мира, идущую через наши органы чувств, но и информацию четвертого измерения, которая не ограничена ни нашим пространством, ни временем.

Ясновидение, телепатия, предвидение будущего — есть свойства «Формации Ч».

Однако не все знания «Формации Ч» становятся достоянием человеческого разума.

В «Страшной мести» Гоголя Данило говорит своей жене: «Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа». Великий мистик Гоголь предвосхитил современную парапсихологию.

Безусловно, знания и возможности, таящиеся в «Формации Ч», могли бы дать человечеству огромные новые возможности позна-

ния и завоевания вселенной, но мозг — недостаточно совершенная машина, чтобы принять все сигналы «Формации Ч», или «Формация Ч», в свою очередь, еще не может программировать свои знания в удобоваримую для мозга форму.

По всей видимости, симбиоз между «Формациями Т и Ч» еще очень далек от оптимального.

Как известно, в мозгу имеется много так называемых слепых мест, т. е. участков, нервные клетки и пути которых не несут никакой известной функции и их разрушение не ведет ни к каким видимым последствиям. Вероятно, они будут постепенно использоваться для контактов с «Формацией Ч».

Дальше автор хочет коснуться еще одного свойства человеческого организма, а именно регулирующих систем.

Жизненные функции человека регулируются тремя тесно связанными между собой системами:

1) Гуморальной системой, находящейся под контролем мозгового придатка — гипофиза, в котором регулировка осуществляется железами внутренней секреции, выделяющими гормоны.

2) Вегетативной нервной системой, т. е. неподчиненными сознанию нервами, регулирующей главным образом внутренние органы и сосуды и контролируемой центральными ганглиями головного мозга.

3) Анимальной нервной системой, т. е. нервами, подчиненными сознанию. Эта система контролируется нервными центрами коры головного мозга.

Эти три системы дополняют и в особых случаях заменяют одна другую. Так, в ответ на холод окружающей среды

1) щитовидная железа ускоряет обмен веществ,

2) вегетативная нервная система сужает сосуды на поверхности тела, чтобы уменьшить потерю тепла, и вызывает мелкие сокращения мускульных волокон — дрожь, которая ведет к согреванию тела,

3) по приказу коры головного мозга человек начинает двигаться быстрее или направляется в теплое помещение.

Каждая система, как было сказано выше, может частично заменять другую. Так, известны автоматизмы, когда сознание полностью выключено, но поведением человека руководят центральные ганглии (скопления нервных клеток в стволе головного мозга), которые берут на себя, вместо коры больших полушарий, управление анимальной нервной системой. Как пример можно привести лунатиков, которые совершают трудные переходы и сложные действия с полностью выключенным сознанием.

Но и «Формация Ч» является своего рода четвертой регулирующей системой. Ее регуляция лежит в высших слоях человеческой психики. Совесть и служение высшим ценностям — проявления «Формации Ч».

Иногда «Формация Ч» может брать на себя выполнение отдельных функций коры головного мозга; в этих случаях мы говорим о вдохновении или наитии. Сделанные при этом открытия или созданные произведения искусства резко отличаются от ранее существовавшего и ни в коей мере не соответствуют аналогиям прошлого.

Как пример можно привести рассказ Августа Кекуле о том, как он открыл бензойное кольцо: «Однажды чудным солнечным днем я ехал на крыше последнего omnibusа по пустым в это время улицам и погрузился в дремоту. И вот перед моими глазами стали качаться атомы. Раньше мне никогда не удавалось уловить способ их движения. Сегодня я увидел, как маленькие соединялись в пары, как большие их охватывали, как еще большие захватывали сразу четверо маленьких, и как все соединялись в качающиеся кольца. Крик кондуктора вывел меня из дремоты, но я провел часть следующей ночи, записывая мои сновидения. Так возникла структурная теория».

Советские ученые в последнее время стали также изучать этот феномен, называя его «эвристической» деятельностью человека (от слова «эврика»). «Вот это «внезапное видение», пишет кандидат педагогических наук по психологии В. Пушкин в 10 номере журнала «Наука и жизнь» за 1964 год, очень характерное для человеческого мышления, представляет собой одну из величайших загадок, которая когда-либо возникала перед наукой». Далее он пишет: «Она (эвристическая деятельность) проявляется тогда, когда в распоряжении человека отсутствуют готовые логические схемы действия (алгоритмы) или когда невозможен полный перебор всех вариантов решения поставленной задачи».

В. Пушкин, ссылаясь на работы физиолога А. Ухтомского о доминантных очагах возбуждения, доказывает, что «в мозгу человека, встретившего более или менее сложную задачу, создается ее модель, которая состоит из элементов условия задачи, отраженных в их связях и отношениях. В ходе ориентировки в условиях задачи, в ходе их анализа и синтеза, то есть в процессе активной сознательной деятельности, происходит корректирование, совершенствование модели, приспособление ее к реальности. Пользуясь такой динамической моделью проблемной ситуации, человек в уме проектирует успешные методы воздействия на действительность».

В свою очередь мы, не отрицая возможности создания определенных психических моделей в мозгу, указываем на сходство «эвристической деятельности» с пророческим ясновидением и телепатией и объясняем ее включением «Формации Ч» в процесс мышления.

Некоторые автоматизмы в минуту опасности можно также приписать активизации «Формации Ч», но их трудно отличать от автоматизмов центральных ганглиев.

Как уже было сказано выше, гипотеза о «Формации Ч» полностью объясняет телепатию, внепространственное и вневременное (пророческое) ясновидение.

Теперь нужно сказать несколько слов о телекинезе. Телекинез описан неоднократно в литературе как передвижение предметов в «заколдованных» домах, а также во время спиритических сеансов.

В спонтанных случаях телекинеза наблюдается часто определенная закономерность:

- 1) Стуки и движения вещей почти всегда происходят в присутствии определенного лица, чаще всего ребенка в переходном возрасте, иногда истеричной особы;
- 2) в бедной или асоциальной среде;
- 3) сначала слышны стуки, потом начинают передвигаться предметы, летать по воздуху, потом появляются искры;
- 4) чаще всего дело кончается пожаром или другим несчастьем.

Автор объясняет эти явления попыткой «Формации Ч», которой не удается осуществить свое влияние через мозг, активно вмешаться в события и предупредить надвигающееся несчастье.

Существование сознательного телекинеза доказал вышеупомянутый американский ученый Райн. Согласно его опытам с бросанием игральной кости, желаемые числа выпадают чаще, чем следовало бы ожидать по теории вероятности.

Описаний телекинеза во время спиритических сеансов очень много. Но, пожалуй, самое серьезное из них приводится в книге Л. Л. Васильева «Таинственные явления человеческой психики». Васильев описывает опыты по телекинезу, проводившиеся в 1930-31 гг. в Парижском метапсихологическом институте его директором доктором Эуженом Ости совместно с сыном — инженером Марселем Ости. При этом медиум выделял невидимую субстанцию, которая частично поглощала инфракрасные лучи, и, таким образом, ее выделение и движение смогло быть зафиксировано соответствующими приборами. Эта же субстанция якобы двигала по воле медиума лежащий в другом конце комнаты у всех на ви-

ду платок. Однако эти опыты были обойдены молчанием и о повторении их нет никаких сведений.

Перечень необъяснимых современной наукой явлений будет неполным, если не упомянуть медиумальный диагноз различных заболеваний. В этих случаях люди, чаще всего не имеющие медицинских знаний, ставят в состоянии транса медицинский диагноз или указывают больной орган. Наука различает аутоскопию, т. е. взгляд в собственный организм, и ксеноскопию — взгляд в чужой организм.

Впервые это явление было описано французским врачом XVIII века, маркизом де Пюсегур (Puységur), который открыл и наблюдал способность ставить правильный диагноз у необразованного крестьянина Виктора Рассе.

В последующих столетиях так называемые «спящие врачи» появлялись в различных странах и пользовались большим успехом.

Самым замечательным из них был, пожалуй, Эдгар Кейс (Edgar Cayce), подвизавшийся с большим успехом в начале нашего столетия в США. Он узнал о своей необычайной способности случайно. На двадцать втором году жизни неизвестный фотограф Эдгар Кейс потерял голос. Усилия врачей оказались безрезультатными. Тогда Кейс прибег к самовнушению. Вечером он сделал себе внушение, что заговорит утром, так и случилось. Таким же образом он вылечился в один день от тяжелого воспаления легких.

После этих случаев Кейс начал ставить диагнозы в гипнотическом сне. Обычно сеанс проводился следующим образом: Кейс ложился на диван и погружал себя в самогипноз. Рядом сидела его жена Гертруда, которая называла имя и адрес больного. В ответ Кейс говорил диагноз. При этих сеансах присутствовали почти всегда врачи и стенограф. Способности Кейса подвергались проверке на заседании «Американского общества клинических изысканий» (American Society of Research); начиная с 1900 года все его диагнозы запротokolированы. За свою жизнь (Кейс умер в 1945 году) он поставил 14 726 диагнозов. Врачебная комиссия, критически изучавшая эти протоколы, признала, что в 90% случаев диагноз был правильным. Хотя Кейс никогда не изучал медицины, во время трансов он пользовался прекрасным медицинским языком и обнаруживал знание самых специальных отделов медицины. В городе Вирджиния Бич (Virginia Beach) для Кейса была выстроена маленькая больница, где он и работал до конца жизни.

Современная наука еще не может объяснить медиумальный диагноз. Во всяком случае объяснение, что «спящие врачи» читали диагноз в подсознании присутствовавших врачей, неудовлетворительно, т. к. очень часто диагнозы, например, Кейса расходились с мнением врачей и оказывались более правильными.

С точки зрения гипотезы о «Формации Ч», объяснение вполне ясно: четырехмерным формациям доступна каждая точка трехмерного мира, где бы она ни находилась.

Может ли «Формация Ч» существовать независимо от человеческого тела, скажем, после его смерти, и существовала ли она до его рождения? В настоящий момент ответить на эти вопросы невозможно. Но определенная самостоятельность ее и слабый контакт с «Формацией Т» говорят в пользу положительных ответов.

Существуют ли другие формации в четвертом измерении? Вероятно, да. Если предположить существование «Формации Ч», то нет основания считать, что это — единственный вид четырехмерных существ.

Многие ясновидящие видели, кроме будущих событий или событий, случившихся на очень большом расстоянии, давно умерших, святых, добрых и злых духов, ангелов и т. д.

Здесь можно привести книгу Ани Тейллард «Неизвестное измерение». Тейллард — психолог из школы К. Юнга — постигла, по ее словам, иной высший мир, который она и описывает в своей книге. Во всяком случае, ей удалось увидеть не только души умерших, разных мифологических существ, ангелов, но даже и Бога. Что это? Сознательный обман? Галлюцинации? Или действительно иные сферы?

Судить о других формациях четвертого измерения по видениям мистиков нельзя, так как они слишком субъективны и соответствуют их религиозным мировоззрениям.

Но, вероятно, все значительные события в нашей вселенной связаны с вторжением иных формаций в наше измерение. Так, создание материи во вселенной трудно объяснить без участия четвертого измерения. В пользу этого предположения говорит так называемый «феномен бегства материи», т. е. движение небесных тел во все стороны от одной точки, а также весьма убедительным научным способом установленный возраст вселенной.

Скачок от неживой материи к первому живому существу и от обезьяноподобного зверя к человеку также не обошлись без участия формаций четвертого измерения.

В настоящий момент высказанные автором мысли так же недоказуемы, как и все другие мистические или материалистические теории. Но с их помощью можно наметить пути изучения данной проблемы.

Здесь существуют два радикально отличающиеся друг от друга пути:

1) Спиритуалистический — путь религиозного опыта, аскетизма и религиозного наития, сводящийся к описанному выше сдвигу контактов мозга в глубину «Формации Ч». К несчастью, этот способ доступен только единицам и не может быть охвачен точными науками.

2) Материалистический путь, т. е. путь наблюдения, измерения, создания законов и теорий и подтверждения их опытом.

Спиритуалистический и материалистический методы не тождественны с идеалистическим и материалистическим мировоззрением. Так, глубоко религиозный Павлов создал материалистическую основу понимания психической деятельности, за которую до сих пор судорожно держится официальная советская наука, в то время как атеист Фрейд первый описал лежащие вне нашего сознания душевные процессы и из-за этого не признается той же официальной советской наукой.

В плане материалистического метода изучения феноменов высшей нервной деятельности и формаций четвертого измерения следовало бы обратить внимание на следующие пункты:

1) Медицинское и психиатрическое изучение медиумов, йогов и людей, которым сопутствуют оккультные явления.

2) Проверка спиритических феноменов в лабораториях, а не в неблагоприятной для наблюдения обстановке спиритических сеансов. В частности, повторения опыта Ости.

3) Медикоментальное воздействие на мозговые контакты с «Формацией Ч». Опыты с мескалином, лисергиновой кислотой, диэтиламидом лисергиновой кислоты (ЛСД) и другими медикаментами, вызывающими галлюцинации шизофренического типа, неоднократно описаны в литературе, но действие их на медиумов и подобных им лиц, а также попытка вывести на поверхность коллективное подсознание, насколько известно автору, еще не проводились. Особенный интерес представляет собою действие «ЛСД»,

который очень часто влияет на религиозное чувство вплоть до вызывания религиозного экстаза.

4) Что касается кибернетики, то она поможет детальному изучению и пониманию работы мозга, но, вероятно, не даст конечного ответа на вопрос о сущности нервной деятельности — сущности души.

О западной культуре

Д. Орленин

«СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ»

Недавно была предпринята попытка проследить развитие трагедийного жанра в литературе и определить, имеет ли он какое-либо значение в наши дни.

Это попытался сделать Рэймонд Уильямс в своей книге «Современная трагедия», которая была написана на основе его лекций на английском отделении Кембриджского университета.

В то время как у древних греков, и, в частности, у Аристотеля, трагедия занимала первое место среди литературных ценностей, в наше время многие считают, что вряд ли возможно еще создать произведения этого жанра.

В начале книги Уильямс концентрирует свое внимание на греческой трагедии. Согласно его взглядам, особо важное положение трагедии в иерархии греческих литературных жанров было обусловлено господствовавшим тогда метафизическим мирозерцанием. Трагический конфликт возникает при столкновении трагического героя с отвлеченной Судьбой, Неизбежностью или сущностью богов. В Средние века метафизическое мирозерцание играет менее важную роль. Центр тяжести в конструкции трагического конфликта перемещается на внешние атрибуты человеческой жизни. В качестве лучшего средневекового определения трагедии Уильямс приводит строки из пролога к «Рассказу монаха», где Чосер говорит, что трагедия рассказывает о «том, кто пребывал в чести и богатстве и с высокого положения скатился в нищету и кончает жизнь в жалком состоянии». Ключевым понятием средневековой трагедии является Рок. Вместе с Роком в трагедию входит произвол человеческой судьбы. В эпоху Ренессанса один из главных источников трагедии — падение знаменитых, великих людей.

Новое понимание трагедии вырабатывается классицизмом.

Все больше занимаются истолкованием характера героя, который уже не связан с обществом. Заблуждение или слабость доброго в основном человека ведут к страданию. Если раньше в центре внимания были отношение человека к страданию и возможность извлекать из него уроки, то теперь таким же важным становится вопрос, каким образом можно страдание преодолевать. Уильямс следует за Шопенгауэром в его мысли, что страдание присуще человеку от природы. По этой теории следовало бы ожидать возникновения трагедии в любое время и в любой обстановке. Однако Уильямс считает, что условий для настоящей трагедии ни в период мира и благополучия, ни во время открытого конфликта нет. Наиболее благоприятные условия для трагедии создает время накануне распада или перестройки общества.

В ряде мест своей книги Уильямс подчеркивает, что трагедию нельзя рассматривать в отрыве от исторической обстановки, от традиций или институций. Если все внимание в трагедии сосредоточивается на трагическом герое, то и в этом случае герой все равно немислим вне определенных рамок. Так, например, Гамлет не мог бы возникнуть без датского государства.

Особенно энергично Уильямс выступает против понятия трансцендентного зла, которое широко употребляется в последние годы. Говорят, что теперь подлинная сущность человека проявляется вопреки всем иллюзиям о человеке, связанным с цивилизацией и прогрессом. При такой аргументации в первую очередь приводится как пример концлагерь, в котором человек человеком редуцируется до состояния вещи. Однако в употреблении образа концлагеря в качестве примера единственно верного изображения человеческого характера Уильямс видит некий вид богохульства. «Ибо, возражает он, пока одни создавали лагеря, другие, сознательно идя на риск, погибали, чтобы их уничтожить. Пока одни сажали в тюрьмы, другие освобождали». Нет на свете такого вида зла, которое создали бы одни люди и против которого не боролись бы другие люди. Нельзя поэтому сосредоточиваться только на одной части этого действия и называть ее абсолютной или трансцендентной. Уильямс не отрицает, что некоторые явления следует определять как проявления зла. Но он возражает против абстракции и обобщения зла, препятствующих восприятию взаимоотношений между различными действиями. Эти мысли приводят к заключению, что трагедию следует определять более широко, чем это делалось до сих пор.

В части, посвященной современной трагедийной литературе, Уильямс рассматривает образ трагического героя у разных авто-

ров. В трагедийной литературе последних четырехсот лет прослеживается превращение трагического героя в трагическую жертву, конфликт между индивидуумом и силами, разрушающими его. Греческая трагедия, которую, по мнению автора, до сих пор неправильно анализировали с позиций современной трагедии, основывается не на индивидууме, а на истории. Главное внимание уделяется не человеческой личности, а положению человека в мире, существующем независимо от него. Вместо того, чтобы специфическое действие обобщалось, специфицируется общее действие. Автор отрицает, что христианство изменило греческое отношение к трагедии тем, что оно подчеркнуло значение личности. По его мнению, ни одной значительной трагедии в христианском мире до гуманизма и индивидуализма нет.

У Марло и Шекспира человек руководствуется своими стремлениями и своей сущностью. После того как трагедия приспособилась к мышлению буржуазии в XVIII веке, романтическая трагедия снова ставит личность в центр внимания. Из романтической трагедии рождается современная трагедия, в которой человек бежит от самого себя.

У Ибсена общество — враг человека. В «Святой Иоанне» Бернарда Шоу общество разрушает индивидуум. В этих трагедиях человек становится жертвой фальши общества. Но помимо фальши это общество обладает разрушительными и злыми силами.

Как особую форму современной трагедии Уильямс рассматривает «частную трагедию» (определение самого Уильямса — Д. О). При этом он начинает с творчества Стриндберга, который определяет семью как частный случай государства. Трагический элемент заключается в возможности распада семьи. От Стриндберга развитие идет дальше к Юджину О'Нилу, Тенниси Уильямсу и Джону Осборну. В противовес «частной трагедии», в которой люди страдают и погибают вследствие недоразумений в личных отношениях, Реймонд Уильямс рассматривает «социальную трагедию», в которой разрушаются и человек и цивилизация по вине общества.

У Чехова автор наблюдает начало освобождения от реализма XIX века. Героем или жертвой является уже не индивидуум, а целое общество. Автор основывает свои замечания о Чехове главным образом на «Трех сестрах». Слишком мало места Уильямс уделяет, на мой взгляд, трагедии Пиранделло, в которой иллюзия играет небывалую до сих пор роль. После того как настоящие человеческие отношения, по мнению Пиранделло, стали невозможными, он видит единственный выход из мира страданий

в мир мечты. У Йонеско индивидуум находится в изоляции в непонятном и бессмысленном мире. Если для Чехова еще существовало сочувствие, то у Пиранделло оно исчезает, а у Беккета превращается в безжалостность и сарказм.

Только к концу второй части своей книги Уильямс ставит вопрос, возможна ли трагедия в наше время. Часто говорят, что трагедия в XX веке невозможна потому, что наши философские предпосылки нетрагичны. Уильямс возражает, что три новых системы нашего времени — марксизм, фрейдизм и экзистенциализм — трагичны. Трагедия и в наши дни — неотделимая часть человеческого бытия. «Человек может добиться для себя полной жизни только после ожесточенного конфликта; человек глубоко разочарован и раздвоен, живя в обществе; человек взволнован невыносимыми противоречиями, находясь в состоянии абсурдности».

В третьей части книги Уильямс публикует свою трагедию «Кобра». К сожалению, автор не дает никаких комментариев к этому произведению, которое он, по-видимому, включает в свою работу в качестве примера современной трагедии. Жаль также, что Уильямс нигде в своей книге не резюмирует свои идеи, так что читателю не всегда ясны цель и ход мыслей автора. Тем не менее, эта книга живо демонстрирует проблематику современной трагедии.

С «Современной трагедией» Реймонда Уильямса перекликается книга редактора французского журнала «Эспри», Жан-Мари Доменака. В своей книге «Возвращение трагического» Доменак, в основном, пытается разобраться в нашем времени и обществе. Доменак видит принципиальные взаимоотношения между культурной и политической историей. Поэтому он и в данной книге берет театр как мерило эпохи. Для пояснения своих идей он рассматривает понятие трагического, не ограничивая его лишь сценой. Он избрал понятие трагического для своих размышлений потому, что оно несет в себе подлинные проблемы и истины нашей эпохи безо всякого упрощения. В трагическом истины проявляются во всей своей несовместимости. Поэтому оно может служить для разъяснения состояния современного общества.

Наблюдения Доменака идут от Шекспира через трагедию французского классицизма к Беккету, в котором он видит лучшего представителя современной литературы. Характерной чертой современного общества Доменак считает именно ту безысходность положения, в котором находятся герои Беккета. Их неспособность

к бунту и жертве, которые раньше были присущи трагическому действию, характеризует общество, оупевшее после больших революций и войн и отдающее все свои силы и внимание предметам ширпотреба. Противопоставляя возможности современного общества возможностям общества прошлых веков, Доменак резко критикует то, что он называет «обществом потребления».

Затем Доменак сопоставляет классическую трагедию с современной: если в классической трагедии противостоят страсти, интересы, духовные ценности, то в современной антитрагедии это место занимают бессмысленности и «неценности». Порядок, который являлся абсолютom для Софокла, как и для Расина, утерян Беккетом. Но между Расином и Беккетом Доменак видит трех авторов, сделавших серьезную попытку приблизиться к трагическому. Это — Мальро, Сартр и Камю. Черпая свои представления из прошлого, они верят в величие человека, хотя вера их постоянно опровергается абсурдностью нашего времени.

Андре Мальро снова пытается вернуть человеку свободу и достоинство, но эта попытка обречена на провал — фашизм овладевает Европой, и история уничтожает надежду возвратиться к трагическому. Сама история, по мнению Доменака, доказывает обреченность такой попытки. Сен-Жюст еще олицетворяет революцию во имя добра. Но «революция — это антифатализм», она направлена против фатализма массы, которая не желает свободы. Борьба за свободу и справедливость — мотор трагического. Фатализм человечества губит борьбу за справедливость и свободу. Во времена Сталина и Гитлера побеждает фатализм — трагедия уходит в историю. Человек в своей борьбе за мыслящую и действительную свободу, за порядок, в который он верит, уступает безымянной силе.

В противоположность Уильямсу, Доменак считает, что невозможно показать на сцене трагическую структуру нашего времени, потому что трагедия больше не ведет к освобождению. Остается лишь антитрагедия Беккета, в которой отсутствует самый важный элемент традиционной трагедии — бунт, и поэтому трагедия превращается в трагический фарс.

Несмотря на весь пессимизм, выраженный в этих размышлениях, Доменак верит в возвращение настоящего трагического. Он убежден, что возвращение трагического неизбежно, и что оно по сути дела уже началось. «Следует, между прочим, приветствовать и поддерживать его, ибо оно вернейшим способом может гарантировать нас от потери человека».

ХРИСТИАНСТВО И МАРКСИЗМ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ОТКРОВЕННОГО ДИАЛОГА

Еще не так давно идея диалога между представителями двух ведущих и противоположных друг другу мировоззрений — марксизма и христианства — должна была казаться абсурдной. Введение «марксизма» в жизнь некоторых народов в качестве государственной идеологии приводило к неизбежной вульгаризации идей самого марксизма. Этой вульгаризации по разным причинам поддаются широкие круги как приверженцев марксизма, так и врагов этой идеи. Упрощенный марксизм, бесчеловечные последствия введения его в политическую жизнь многих стран и его ожесточенная борьба против религии привели к тому, что многие представители христианского мира стали отрицать его, даже не считая нужным вступать в спор с самой идеей. На этот факт указал немецкий писатель Генрих Бёль в своем интервью, речь о котором шла в 66 номере нашего журнала, заявив, что «Гитлер и Сталин облегчили им (поколению Бёля) спор с коммунизмом». По сути дела, спора вообще и не было — вся аргументация в большинстве случаев заключалась в обмене нелестными выражениями. После бесконечных грубых нападок со стороны коммунистов на христианство и любые проявления христианской жизни, некоторые христианские круги стали прибегать к противопоставлению христианства марксизму в качестве западной «антиидеологии». Этим фактом представители христианства толкнули представителей марксизма на путь борьбы с ними, вместо того, чтобы начать спор. Круг взаимных оскорблений и обид замкнулся.

И всё же, несмотря на все препятствия, в 1965 г. в моцартовском городе Зальцбурге состоялся диалог между представителями двух важнейших мировоззрений нашего века. Встретилось 240 профессоров и доцентов европейских университетов — христиан и марксистов, ощутивших потребность провести — без эмоций и полемик — строго научную дискуссию о значении для современного человека религии и атеизма, о взаимоотношениях этих двух мировоззрений.

Известный своими произведениями французский марксист и коммунист *Роже Гароди* подчеркнул неизбежность такого откровенного диалога и сотрудничества между марксистами и христианами по двум причинам: во-первых, у человека нашей эпохи существует возможность уничтожить не только человечество, но и малейшие следы его существования на земле. Если, однако, не произойдет уничтожения человечества, то это следует рассмат-

ривать не столько как «результат биологической эволюции, сколько человеческого решения». Эта альтернатива в свою очередь обуславливает совместные действия всех верящих в дальнейший прогресс вселенной. Во-вторых, нельзя не признать, что человечеством владеют две большие идеи. Для сотен миллионов одних людей смысл жизни и смерти, как и смысл человеческой истории, заключается в религиозных верованиях. Сотни миллионов других людей видят воплощение всех своих надежд и смысл истории в коммунизме. Поэтому нельзя построить будущее человека без верующих или вопреки их представлениям; так же невозможно построить будущее человека без коммунистов или вопреки их представлениям.

До начала дискуссий было подчеркнуто, что диалог христианских богословов с идеологами марксизма не является актом политики, тактики или методики, а науки и гуманности. Главный источник напряжения и проблем нашего времени участники этого диалога усмотрели не во внешнем мире, а в самом человеке, в претензии, проявляемой системами и идеологиями к тому, что каждая из них несет в себе единственную и непогрешимую истину.

Как только идеологическая система вместо употребления умственного оружия прибегает к применению грубой силы — конфликт неизбежен. На самом же деле откровенный конфликт разных мировоззренческих систем есть не что иное, как конфликт с реальностью, ибо всякая идеология должна ориентировать свои принципы и методы не на историческое прошлое, а на исторически неизбежные перемены. Системы же, претендующие на всеобъемлемость и единственность своих мировоззрений, не считаются с реальностью. По этим причинам зальцбургская встреча могла стать только началом многообещающего диалога, в течение которого все участники, т. е. в конце концов все мы, должны сызнова определить свои позиции. Только постоянным сравнением своих принципов с реальностью можно избежать превращения их в ложную и самодовольную «абсолютную истину».

Несмотря на все спорные стороны такого шага, общество, организовавшее эту встречу, решилось на опубликование дискуссий, чтобы дать более широкой общественности представление о позициях представителей марксизма и христианства.

Важный вопрос для направления всей дискуссии поставил немецкий профессор католического богословия *Марсел Рединг*: принадлежит ли атеизм в той же мере к сущности марксизма, как Бог — к сущности христианства? Только решение этого воп-

роса может внести ясность в спор об окончательной несовместимости христианства и марксизма. Чтобы говорить о сущности марксизма, по мнению Рединга, следует изучать исключительно произведения Энгельса и Маркса. Что касается последнего, то в этом случае надо в первую очередь пользоваться авторизованными произведениями, которые он издавал сам, а не неизданными им самим ранними произведениями. В своем предисловии к «Критике политической экономии» Маркс говорит о самом важном пункте своего исторического закона, о базисе и надстройке. По мнению Рединга, существуют веские доказательства против положения Маркса, что надстройка — государство, полиция, религия, искусство, мораль — связана только с классовым обществом. По мысли Маркса выходило бы, что надстройки нет ни у доклассового общества, ни у бесклассового. Однако у нас имеется не одно свидетельство о существовании религии, искусства и морали в первобытном обществе. С другой стороны, по словам самого Маркса, человеку при коммунизме надо будет работать не ради материальных благ, которых у каждого будет достаточно (см. «Критика Готской программы»), но по моральным побуждениям. Следовательно, надстройка и в коммунистическом обществе полностью не отпадет.

Тезис об экономическом базисе и надстройке как таковой не ведет к атеистическим выводам — так считает Рединг. Понятно, что атеист, каким был Маркс, дает историческому закону атеистическое толкование. Для христианина не важно, как можно удерживать марксиста от атеизма. Важен вопрос, *должен* ли марксист, соответствуя сущности марксизма, быть атеистом? На этот вопрос Рединг отвечает отрицательно. Ядро марксизма — исторический закон — само по себе не является атеистическим.

После краткого возражения римского профессора философии *Джирарди*, который считает, что исторический материализм не является центральным пунктом марксизма, зальцбургский доцент теории науки *Вейнгартнер* углубил идеи Рединга. Исходя из положения, что марксизм является наукой, а не богословием, и что атеизм вытекает из марксизма как логическое следствие, Вейнгартнер рассматривает вопрос о наличии положения «Бог не существует» в основе марксизма. Помимо того, что сами марксисты отрицают наличие такого положения в основе их идеологии, Вейнгартнер доказывает недопустимость такого положения в основе точной науки. По своему логическому содержанию тезис «Бог не существует» является отрицанием тезиса «Бог существует» и, следовательно, представляет собой универсальное поло-

жение. Однако универсальное положение не может быть положением науки, основанной на опыте. Только богословие содержит универсальные положения, как, например, моральные требования.

Положение «Бог не существует» не может быть положением теории марксизма также и потому, что его нельзя критиковать с позиций основных положений марксизма. «Логическая предпосылка для возможности критики этого положения заключалась бы в возможном наличии отрицания этого положения — «Бог существует» — в основе. А это сам марксизм отрицает».

Из этой аргументации следует, что или марксизм не наука, а, по-видимому, новая разновидность богословия (что марксизм отрицает), или атеизм — не логическое следствие марксизма.

Против аргументов Вейнгартнера особенно возражали, что нельзя ставить на одну плоскость два тезиса «Бог существует» и «Бог не существует»; что нельзя доказывать бытие Бога тем, что нельзя доказать Его небытие. Но более важными для сути спора, на мой взгляд, являются идеи итальянского ученого *Чесаре Лупорини*. Он также утверждает, что тезис о базисе и надстройке как центральный пункт исторического закона — ни атеистический, ни религиозный. Как атеист и марксист Лупорини согласен с аргументацией Рединга. По его мнению, недоразумение, что якобы марксизм делает атеистические выводы из научного принципа, возникло по вине самого марксизма.

Причины этого Лупорини видит в миросозерцании классиков марксизма. Для них само собой разумелось, что современный научный деятель не мог не быть атеистом. «Атеизм принадлежал к стилю времени», но классики марксизма не создали никакой атеистической теории. Поэтому Лупорини считает необходимым для марксистов сызнова продумать всю проблематику религии и атеизма.

Совершенно новую точку зрения в ход дискуссии внес французский марксист *Роже Гароди*. «Метод, по которому мы, марксисты, ставим вопрос о Боге, не гласит, существует Бог или нет. Основной тезис атеистического марксизма не гласит: «Бог не существует», он гласит: «Человек существует». Основное направление марксизма, по словам Гароди, абсолютно утверждающее. «Мы боремся за человека; логика этой борьбы ведет нас к атеизму, если религия дает недостойные ответы на те вопросы, которые ставит человек. Например, если религия под предлогом сверхъестественного предлагает человеку то, что недостойно человека; это проис-

ходит с религиями, основанными на резигнации или иррациональности».

Исходную точку всей борьбы марксистов Гароди видит в человеке и в его творческой работе. Целью марксизма является создание таких социальных условий, которые необходимы человеку, чтоб он действительно мог стать творцом. У христиан Гароди отрицает право объяснять человека чем-то другим, чем самим человеком. Но при этом он уступает им право утверждать, что марксисты, идя этим путем, пренебрегают очень важной областью жизни человека. «Ибо марксизм должен интегрировать всё, что есть в человеке человеческого, следовательно, и те гуманные черты, которые внесло в мир христианство. И без сомнения, через христианство в мир вошли большие ценности гуманизма».

В другом месте дискуссии Гароди формулирует смысл и цель подобного диалога в форме следующего вопроса: «Какие области жизни человека вы как христиане можете исследовать, и какие можем мы как марксисты исследовать?» Такой диалог может привести к понятию о человеке, которое не лишит его ни тех, ни других существенных областей его жизни.

Если мы проследим дальше за идеями Роже Гароди, то заметим, что он видит немало точек соприкосновения между марксизмом и христианством. Само собой разумеется, что пункты, общие для обоих мировоззрений, в каждой отдельной системе занимают разные места по степени важности или развития. Гароди указывает на то, что Маркс в своем сочинении «Еврейский вопрос» подчеркнул, что только настоящая демократия сумеет «осуществить человеческие основы христианства в плоскости мирской жизни». Христианство способствовало осознанию «сверхчеловеческого» в человеке. Эту черту христианства марксизм перенес в живое осознание несовершенства человека, неисполнимости его требований и обещаний. «Осознание несовершенства человека, неполноценности всего ограниченно человеческого является одной из основных черт марксизма». Марксизм хочет вникнуть в суть истины, но одновременно и создать систематическое завершенное целое. На этом пути Гароди не может принять «мифы трансцендентности, которые всегда чреватые разрывом с самим собой, истину чужую, приходящую извне». Марксизм отвергает эти «иллюзорные ответы религии», но он не отвергает «реальных желаний, из которых рождались эти ответы».

Наиболее обогащающий элемент в наследии христианства Гароди видит в «сознании обещанного осуществления, конституирующего человечество как нечто цельное и придающего смысл

деятельности человека». Хотя у Маркса и можно прочесть, что бесклассовое общество даст человеку возможность свободного развития взаимоотношений, в которых человек перестанет быть вещью, горький опыт нашего века, к сожалению, заставляет нас относиться скептически к бесклассовому обществу. Тем не менее за такими марксистами, как Гароди, можно признать искренность, когда он говорит, что концепцию христианской любви он считает самым высоким представлением, которое человек в состоянии иметь о самом себе и о смысле своей жизни. К сожалению, впечатление искренности Гароди вскоре исчезает. После этого высказывания Гароди говорит, что путь к любви человека к своему ближнему лежит через борьбу. Он критикует тех, кто утверждает, что эта любовь уже существует, и одновременно осуждает во имя любви «всякое справедливое применение насилия в борьбе против мира, который представляет собой именно противоположность любви». В дальнейшем он, в связи с борьбой, больше не упоминает о насилии, но говорит о жертвах, необходимых для достижения великой цели. Таким образом, это место остается не совсем ясным. Понятие христианской любви Гароди еще может признать как гуманный элемент в христианском мирозерцании. Но само христианство он считает бесчеловечным потому, что тексты Евангелия «лишают жизнь и смерть Христа человеческих черт». Как Сын Девственницы и как Воскресший после смерти Христос отъединен от судеб человечества. Поэтому Гароди воспринимает атеизм как борьбу за человечность.

Другая часть доклада Роже Гароди посвящена критике религии Марксом и Энгельсом. Исходя из того, что в современном христианском богословии замечаются большие сдвиги, происходящие под влиянием новых условий жизни, Гароди соглашается признать, что и марксизму следует проверить свое отношение к религии.

Важным пунктом в пересмотре марксистского отношения к религии следует считать истолкование формулы «религия — опиум народа». Эту формулу, широко распространенную как общее марксистское понятие о религии, «нельзя воспринимать в качестве метафизического определения сущности религии, как марксистское определение, всегда и везде остающееся в силе». Эта формула была обусловлена определенным историческим периодом и определенным географическим пространством.

Свое отношение к данной формуле Гароди основывает на произведениях Маркса и Энгельса. Известная формула «религия — опиум народа» находится во «Введении к критике фи-

лософии права Гегеля», написанном в 1843 г. После 1843 г., когда Марксу было всего 25 лет, ни Маркс, ни Энгельс не употребляют больше эту формулу. В действительности тезис «религия — опиум для народа» представляет собой критику системы Фейербаха. Впоследствии Маркс и Энгельс уже говорят о том, что религиозные убеждения играли самую разнообразную роль, в зависимости от исторической обстановки данного момента. Гароди подчеркивает несостоятельность тезиса, по которому «религия во все времена и в каждом месте отвлекает человека от деятельности, от борьбы и работы». Этот тезис находится «в очевидном противоречии с исторической действительностью».

Упрекать религию можно только в том случае, когда она во имя любви к ближнему осуждает революцию рабов. По словам Горького, которые Гароди цитирует, только коммунизм может создать настоящие условия для общества, в котором любовь явится не только надеждой или моральным законом, но и объективным законом всего общества. При этом нельзя закрывать глаза на то, что во многих случаях религиозные убеждения как раз служили стимулом к борьбе. Для подтверждения этого высказывания Гароди приводит примеры из индийской и китайской истории, где религия была не опиумом, а именно таким стимулом. Поэтому следует, по методу Энгельса, исследовать эти проблемы отдельно в каждом конкретном случае.

Если Тейяр де Шарден говорит: «синтез наивысшего (христианского) Бога и (марксистского) бога прогресса — это единственный истинный Бог, которому мы можем теперь поклониться в уме и в истине», то Гароди в этом высказывании видит как объединяющие, так и разделяющие черты христианства и марксизма. Общую точку следует видеть в вере в постоянный прогресс человека. Но марксисты не в состоянии признать, что прогресс может иметь конец, они отвергают «наивысшего» Бога. «Для нас коммунизм — не конец истории, а конец предыстории и начало настоящей человеческой истории с бесконечным горизонтом. Еще меньше мы верим, что этот конец мог бы находиться «по ту сторону»: как атеистам нам ничего не обещано. Никто нас не ждет».

После всех теоретических дискуссий по данным вопросам Доминик Дюбарль (профессор философии Католического Института в Париже) обратился к политической стороне христианства и марксизма. Дюбарль считает, что политический характер религии заключается в ее сущности в той мере, в какой религиозность воспринимается как «человечное осуществление свободы». Поли-

тический характер религии становится проблемой, как только речь заходит о создании упорядоченного человеческого государства, в котором должны сожительствовать индивидуумы, «свободно отдающие свою волю за разные интересы, будь то материальные или духовные».

Исходя из этих мыслей, Дюбарль требует «нейтральное государство». «Религиозный человек упрекает марксизм в том, что он старается относиться к проблеме государства и его законов скорее на основе решения об истине и заблуждении, чем на основе признания свободы другого». Такое отношение неизбежно ведет к восстановлению средневекового государственного аппарата, который марксистская идеология сама считает иррациональным. Современный государственный аппарат, по словам Дюбарля, должен быть освобожден как от идеологических, так и от религиозных привилегий. Положение, возникающее на основе политических действий марксизма, в настоящее время невыносимо для религиозного человека. В своем отношении к религиозному вопросу марксистское государство нашего времени далеко не является независимым в партийно-политическом смысле. Поэтому религиозный человек должен препятствовать построению любого дальнейшего марксистского государства, пока марксизм не будет готов предоставить ему политические условия, защищающие его убеждения.

Исходя из сегодняшнего положения, в котором и марксисты и христиане готовы пересматривать свои позиции, Дюбарль говорит, что нельзя договариваться на основе попытки убедить противника в собственной правоте, а только на основе признания свободы другого. Необходима в наши дни готовность к диалогу между людьми, проповедующими разные пути осуществления духовной свободы.

Относительно высказываний Гароди, немецкий профессор богословия *Метц* между прочими возражениями говорит, что христианское учение о будущем — не пассивная эсхатология ожидания. С точки зрения эсхатологического ожидания христианства, Град Господень не лежит перед нами как готовая, далекая, но уже существующая цель. Сам Град Господень еще находится в состоянии развития. «Приближаясь к нему, мы его строим». Таким образом, христиане являются «строителями, а не только лишь интерпретаторами будущего».

Небезынтересны идеи и вопросы *Метца* по поводу истолкования марксистского атеизма профессором Гароди. Французский марксист считает атеизм предпосылкой последовательного и то-

тального гуманизма, но одновременно в нем усматривает и корректив христианства. Метц не отрицает этой критической функции атеизма. Но, возражает он, в качестве корректива атеизм в конце концов остается связанным с тем, что он критикует. И на самом деле: «не живет ли он пафосом надежды людей, который не он сам создал и основал, но унаследовал и активизировал?» И наконец Метц спрашивает: «Что если бы атеизм основал гуманность, исходя из своих идей, а не только из критической корректуры уже набросанной, часто, конечно, самим христианством искаженной христианской картины человека?»

Является ли марксизм по своей сущности атеистическим мировоззрением в смысле активной борьбы против религии, преследования религии разными путями, включая и административный — этот вопрос ставит профессор этики югославской Академии Наук *Вуко Павичевич*. Ссылаясь на произведения Маркса и Энгельса, он подчеркивает, что это не так. Известна ироническая критика, которой Энгельс подвергал Дюринга потому, что тот не мог дожидаться, пока религия умрет естественной смертью, и хотел выслать против нее своих жандармов, как Бисмарк, который боролся своими законами против социалистов. Из этого следует, что марксисты в вопросе «практического атеизма» не стоят на позиции ликвидации религии, а защищают тезис об ее отмирании. Эти взгляды, по словам Павичевича, не противоречат марксистскому учению, потому что Маркс видит корни религии в ощущении зависимости человека от могучих общественных и природных сил.

«Таким образом, говорит югославский профессор, марксизм находится в полном соответствии со своей теорией, когда он:

- а) в вопросе отмирания религии направляет свое внимание главным образом на создание новых общественных условий... и
- б) категорически высказывается против административных насильственных методов истребления религии».

К вопросу о сосуществовании христиан и марксистов римский профессор геометрии *Ломбардо-Радиче* говорит, что свобода для революционного рабочего движения не является политической уступкой или тактическим шагом для того, чтобы найти союзников в западноевропейских странах. Итальянские марксисты и коммунисты убеждены в том, что плюрализм — внутренняя потребность революции. Они считают, что в новом обществе каждый человек должен иметь право на свободное выражение своих мнений. Только на такой основе можно избежать ошибок и добиться более быстрого прогресса.

Разумеется, следовало бы изложить гораздо больше мыслей,

высказанных на зальцбургском совещании марксистов и христиан, чтобы передать более полно впечатление об этих дискуссиях и о позициях спорящих сторон. В этой статье я мог указать только на несколько тенденций, которые мне казались важными. Самое важное, на мой взгляд, то, что такое совещание вообще могло состояться, и что присутствующие ощущали потребность диалога. Если Лупорини признает, что действительность и для марксиста — «мистерия», а Метц воспринимает атеизм не как «богословие в эмиграции», а как «возможный элемент будущего богословия», то это свидетельствует о готовности обеих сторон пересмотреть свои позиции и подумать о том, как христианство и марксизм могли бы сосуществовать и вносить свою долю в строительство нового общества.

По замыслу должен был, собственно, состояться «триалог» между христианами, марксистами и естествоиспытателями. Но последние, к сожалению, внесли мало в общую дискуссию; это, вероятно, объясняется тем, что разговор касался ряда деталей, а не существа их тем. К концу дискуссий подчеркивалось с разных сторон, что во многих пунктах, по сути, не дошло до настоящего диалога — преобладал монолог представителей разных мировоззрений. Но во всяком случае эту встречу можно назвать началом диалога, в необходимости которого все убеждены.

Библиография

По лунной дороге

«Мастер и Маргарита» — роман покойного советского писателя М. Булгакова (автора пьесы «Дни Турбиных»), книга, которой он посвятил 12 лет своей жизни, и которая после его смерти пролежала 26 лет в его бумагах и была наконец извлечена из небытия и впервые напечатана в советском журнале «Москва» (№ 11, 1966 г. и № 1, 1967 г.). Она была сопровождена статьями К. Симонова и А. Вулиса, объясняющими своевременность обнаружения этого произведения в России. Особенно блестяще написана рецензия Вулиса. Уверена, что всякий из нас, не колеблясь, подписался бы под его высказываниями о демагогии, о добре и зле, о творчестве («Мера добра и зла — творческая личность»), под его характеристикой дьявола и его непримиримого врага-Мастера — «Бесчеловечная мощь и немощная человечность» (не острая ли это характеристика большевистской власти и угнетенных ею людей?). Вулису приходится заявлять, что Христос — мифическая личность; но если он целиком принял бы позицию Булгакова, эта повесть вряд ли увидела бы свет!

ИМКА-ПРЕСС в 1967 г., в Париже издала эту книгу с талантливym предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Он подчеркивает ценность этой повести не только потому, что она — творение с грандиозным замыслом большого художника, но также потому, что ее появление в настоящее время в России — событие исключительно знаменательное.

Роман этот многопланен и завуалирован: ключ к его пониманию глубоко запрятан. В этой книге две повести: внешняя — история русского Фауста, рассказ о его мытарствах в нашу опустошающую эпоху, и внутренняя, написанная самим Мастером, где героем является Понтий Пилат, прокуратор иудейский. Эти две повести тесно переплетаются между собою, они связаны неразрывными узами, как соединена жемчужина с той раковиной, в которой она зародилась.

М. Булгаков «Мастер и Маргарита», журнал «Москва» № 11 за 1966 г. и № 1 за 1967 г. Москва.

Две центральные фигуры внутреннего романа — Узник Иешуа Га Ноцри (Иисус из Назарета) и Игемон Понтий Пилат. Повесть эта — подлинная Мистерия. Это не только трагедия Христа и его несправедного судьи — Пилата, но также трагедия всего рода человеческого. Она должна быть особенно близка и понятна советскому человеку: ведь там, в России само слово «правосудие» звучит как издевательство над судом и правдой! Третий, невидимо присутствующий в Мистерии, — Сатана. Хотя в романе ни слова не сказано ни о Воскресении, ни о роли, которую сыграла евангельская весть во всем мире (и это естественно, ибо весь этот рассказ можно было бы озаглавить «Евангелие от Воланда», одно из прозвищ князя тьмы), всё же читатель не может не почувствовать, что дьявол в этой битве был побежден, что у него отнято главное его оружие: людям дана возможность освободиться от греха и смерти. Булгаковский Иисус не признает реальности зла. «Юродивый философ, мечтатель!» — думает про себя игемон. Но услышав безумные слова, что всякая власть является насилием над людьми, но настанет время, когда она будет упразднена, ибо «человек перейдет в царство истины и справедливости», прокуратор иудейский приходит в ужас, потому что понимает, что ему, как представителю римской власти, надо выбирать между спасением «политического бунтаря» и собственной карьерой, собственной шкурой. Мы видим, что в Мистерии, т. е. в «подлинном действии», могут быть лишь две позиции: тех, кто готов умереть за правду, и тех, кто служат лжи. Третьей позиции нет. И в этом вечная трагедия человечества. Хотя многие факты в повествовании искажены и сам облик Иисуса изменен до неузнаваемости, однако, и в этом чудо искусства, читатель, даже неверующий, должен испытывать сильное волнение, соприкасаясь с личностью булгаковского Христа. Мучения Пилата также свидетельствуют о силе духовного обаяния Иешуа. 2000 лет тоскует и не находит себе покоя прокуратор Иудеи. Его автор — безымянный Мастер — жаждет освобождения для себя и для своего героя. Наконец Пилат прощен: он просыпается от страшного кошмара и спешит по залитой лунной дороге навстречу Тому, кто может «с ним договориться» о чем-то очень важном.

«Оправа» Мистерии — внешний роман — не мог быть изложен обыкновенной реалистической прозой: это резало бы слух. Он должен иметь причудливую форму гротеска, быть фантастичен, как сказка, и в таком виде его легче воспринять.

Роман Булгакова — злая сатира на советские нравы (в частности — эпохи Нэпа). Перед читателем проходят люди всех типов и категорий. Чем скучнее и несноснее обывательское существование граждан, тем легче они поддаются на бесовские обманы, кидаются на всякие дурацкие развлечения.

В книге много намеков на злободневные события, на исторические личности, но нельзя с уверенностью утверждать, что вы их поняли правильно. Так например, в начале романа, когда появляется иностранец-дьявол,

очень соблазнительно предположить, что его появление в России — намек на приезд большевистских лидеров в заплombированном вагоне и что они привезли с собой учение Маркса, немецкого философа. Когда спрашивают Воланда, не немец ли он, тот задумывается и потом отвечает: «Немец ли я? Да, пожалуй что немец». А вот и спутники его. Один, по имени Коровьев — «мерзкий регент», «самозванный переводчик» (не Маркса ли?), «невиданной силы гипнотизер» (срав. с героем Синявского в «Любимове»), «усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические, и физиономия... глумливая» (см. стр. 12, 36, 38, 214). Второй компаньон дьявола — «неизвестно откуда взявшийся кот, громадный как боров, черный как сажа или грач и с отчаянными кавалерийскими усами» (стр. 38). Эта фигура очень напоминает черного кота из песни Окуджавы. Третий прислужник князя тьмы — «демон безводной пустыни, демон-убийца, с пустыми черными глазами» (стр. 210) (не большевистский ли вождь, обреченный впоследствии на изгнание и одиночество). (!)

Некоторые сцены в романе похожи на чудесные фрески. До чего хорош полет двух женщин на шабаш! Бесподобен бал у Сатаны. Это видение веселящегося Ада. Фонтаны изливают струи крови, а люди, искупавшиеся в них, чувствуют прилив свежих сил. В этом поистине есть что-то жуткое, дьявольское! Здесь же происходит сцена советского суда — скорого и несправедного. Дьявол крутит глобус, на котором колышатся океаны, воочию падают бомбы, горят города, гибнут люди. Наглядно убеждаешься, что Ад вышел из своих тайных недр и распространился по всей земле. Хозяин бала — Сатана, черный маг Воланд, как полагается, — вечный моралист. От всей его личности веет скукой и пресыщением. Все в России так изолировалось, что самому черту приходится свидетельствовать об историческом существовании Христа, которое отрицают московские безбожники. В книге немало намеков на эту эпидемию лжи, распространившуюся повсюду: дача под Москвой, куда так хочется попасть писателям, называется Перельгино, а у секретарши МАССОЛИТА скошенные к носу глаза от непрестанного вранья!

Любопытно, что демоны, вдали от людей и городов, теряют свой пошлый и уродливый облик и даже приобретают какую-то дикую и грозную красоту, когда мчатся на черных конях по ночным лесам и пустыням.

Русский Фауст проживает в доме для умалишенных и вместо имени имеет лишь №. Больной № 118. Русская Маргарита не чета смиренной Гретен. Чтобы спасти любимого человека, она готова «лететь к черту на кулички». Эти два героя, благодаря своей верной любви, душой обитают в иной сфере, недоступной дьяволу. Если они отправляются в «дом покоя», в страну романтического прошлого, то верно лишь потому, что еще не выросли до понимания света. Как и Пилат, они стремятся по «лунной дороге»,

чувствуют ее красоту, но способны также и мыслить. Думается, что здесь намек на то, что мы сейчас на переломе, что нам дается свобода, о которой раньше не смели мечтать. Быть может, самое значительное в этой необыкновенной книге — предчувствие свободы, нового понимания ее людьми.

О. Можайская

Цветными карандашами

Муза дальних странствий — частый гость Юрия Иваска. Впрочем, это единственное, что роднит Иваска с Гумилевым; его «поэтические координаты» другие: Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий.

И видит Иваск иначе, смотрит на мир другими глазами, чем певец капитанов и конквистадоров. У Иваска на вооружении не пистолет и не меч, а кисть живописца или — лучше сказать — цветные карандаши для дорожного альбома.

Иваск — «открыватель новых земель». Впервые в русской поэзии отразились Мексика, современная Греция, по-новому отразился Афон.

Как видит Иваск мир, об этом можно поведать примером.

В Равенне, неповторимой византо-италийской Равенне в разные времена побывали А. Блок, Н. Заболоцкий, Дм. Кленовский и Юрий Иваск.

Что тронуло в Равенне сердце Заболоцкого? Могила Данте, его неразделенная любовь к изгнавшей его Флоренции, да еще то, что «злая тень чужого самолета/ свои круги над городом чертит».

У Кленовского Равенна это прежде всего фон:

...Не камешком в мозаиках Равенны

(О самих мозаиках ни слова; они туманно зрятя где-то за текстом).

...Шуршанье ящериц в камнях Равенны...

(Каких камнях? Опять ни слова. Базилики, могила Данте, пыльные остатки городской стены — все это лишь подразумевается).

Для Блока Равенна — наплыв реминисценций: ... «Безмолвны гробовые залы,/ Тенист и хладен их порог,/ Чтоб черный взор блаженной Галлы/ Проснувшись, камня не прожет./ Военной брани и обиды/ Забыт и стерт кровавый след,/ Чтобы воскресший глас Плакиды/ Не пел страстей протекших лет»...

А Юрий Иваск торопится достать цветные карандаши, занять удобную позицию, и набросать в свой дорожный альбом:

РАВЕННА

В своем розарии на плоской крыше / Всегда готова милая старушка /
Бельишко кой-какое постирать.

Я к ней зашел с рубашками под мышкой, / Любуясь розами, озонной
сушкой / На этой вышке метров семь на пять.

Я видел диво цареградской веры — / Осенне-мозаичные покровы, / Мер-
цающий магический кристалл.

Я видел чудеса в раю пещеры / Светящейся, янтарной и медовой, /
Я вечное блаженство испытал.

И опустелую я видел славу / Давно надтреснутого саркофага, / И пра-
зелень — «всё суета сует».

Старушку я в розарии оставил; / Уже свое ты совершила благо, /
Белье озонное впитало свет.

Трехстишья, косвенно напоминающие бессмертные терцины «Комедии» — вот едва проступающий, неназванный, непоказанный профиль Данте. Но зато замечена и отмечена янтарность «Сан Витале» или «Крещальни Православных», а всё начинается и всё кончается образом милой старушки, готовой постирать в своем розарии бельишко: она бессмертна, потому что стирала бельишко еще солдатам Теодориха, а когда по улицам проносили гроб с телом Данте, то стояла в толпе и истово крестила украдкой гроб, и потом еще видела издали лошадь и на ней хромоногую красавца-лорда, Бог знает для чего променявшего свою Англию на пыльную провинциальную Равенну: люди говорят разное...



Мексика — новая тема в русской поэзии. (Правда, о Мексике ацтеков писал К. Бальмонт, но было б лучше, если бы не писал). Какие здесь цвета?

«Лазорево-знойно, / Оранжево-бабочно»... («Ушмал»)

«И золото — осеннее барокко»... («Таско»)

«Желтый домик с синей каемочкой / И зеленой дверцей...» («Сан Мигель Айенде»)

«Баба в оранжевой юбке / На золотом помеле»... («Оахака»)

«Налился кровью Попокатепель-алмаз»... («Чолула»)

Бабочками впорхнули, / Розовый глиняный рай... («Тонанцинтла»)

«Из океана Запада звезда / Уже взошла над красными пустынями, / Спешите, малoverные сюда, / С цветами неба, голубыми, синими.

Подразнивает яркий попугай, / Ежевой рукавицей кактус колетя, / А все же голубой и синий рай — / Уже за частоколом, за околицей». («Сан-Анхель»)

Ярко, красочно, пестро, так что рябит в глазах, — таково первое впечатление от Мексики, как она запечатлелась в путевом альбоме Иваска.

Потом начинаешь соображать: холодные цвета, — синий, зеленый — лишь для того, чтобы лучше оттенить горячие: красный, оранжевый, золотой, кровавый. Мексика говорит на солнце золотом и киноварью, и лишь тени тянутся синие, голубые, зеленые.

А вот Мексика, ушедшая в века, Мексика запотеков. Здесь цветные карандаши — в сторону. Здесь чертеж с помощью линейки и циркуля.

МИТЛА

Эти линии не вымысел, / И не домысел, а замысел. / Ромб — земное измерение, / Крест — четыре направления, / А движение — зигзагами, / Обозначенное магами / — Звездочетами и зодчими, / Очень точными — воочию.

Остальное исключается — / Восхищение, страдание. / Ровно в полдень очищается / Самое существование — / На Акрополисе греками, / В этой Митле запотеками. / Все разгадано, измерено: / Рай пространственный — вне времени.

Математика — мозаика / — Осязаемая музыка. / Ромбы и зигзаги знания. / Не зияние — сияние.

Мексика — чудесное сплетение ацтекского и испанского, языческого и католического, золотых масок, внушающих отталкиванье богов и мраморных мадонн.



Греция... Не та мраморная Греция древних...

...«Безумные распри, ереси, / Но та же голубизна, / И крылья белого паруса / И пенистая волна.

На рынке радуга запахов — / Омары, дыня, чеснок, / Сюда я приехал с Запада / На мой роковой Восток.

При Кесаре, при Андронике, / Меня пырнули ножом, / Но те же они, Салоники / И тот же розовый дом.

И вечный покой мозаики: / Одетый в белый хитон / Застыл я в раю-
розари, / Фазанами окружен». / («Салоники»)

Не та мраморная Греция древних, но та же голубизна неба, та же
белизна парусов.

А вот и «та» Эллада:

«Дымится море / И удаляются острова / А выше — мрамор / И ки-
парисы, но не трава.

Везде колонны — / Смугло-пергаментные леса, / Всегда бездонны /
Самые синие небеса.

*

Геометрия и стихия — / Единый строй, / Золоченая мусикия — / Пче-
линый рой. («Акрополь»)

«Афон» — цикл стихотворений (числом восемь), или, если угодно, — не-
большая поэма: все стихи связаны одной темой вечного праздника, вечного
славословия Господу,

«Пасхальное ликование, / Прощение, воскрешение».

Чуть намечена и другая тема: насельники Афона, русские, греки.

Вечерние посиделки: /

— Тогда я был Иванов, / — И после той переделки / — Мы, значит,
вошли во Львов.

О том, как в Девятисотом / Приехамши на Афон, / — Болел, обливаясь
потом, / — Не помню я — сколько дён!»

В вечный праздник—молебен прорывается быт. Это часто у Иваска:
вечность и, рядом, повседневное (вспомним равенскую старушку!). Но
мы видим, как

...черное — голубому / Сиянию — вопреки: / Свой путь совершают к
дому / Суровые клобуки»,

и мы слышим, как

«в два часа пополуночи / Заутреннее ббomm-ббomm! / Вдыхаючи и гро-
хочучи / Раскатывается гром».

Читая стихи Иваска чувствуешь, как неестественно, как фальшиво звучит противопоставление какой-то «эмигрантской» поэзии — поэзии «подсоветской». Ну к какому разряду отнесешь творчество Иваска: к «эмигрантскому» или «подсоветскому»? Не проще ли сказать: к русской современной поэзии в лице одного из ее своеобразнейших представителей?

Кстати у Иваска есть и «цветаевские» стихи, посвященные

МОЛОДОМУ ПОЭТУ В РОССИИ

Твое не баловство ли волшебство?
Хотя бы так... Избыток непочатый.
Энергии? А может быть сродство.
Высокое? Ты памятуй и ратуй!

Тайгой, пургой, Сибирью обернись.
И шествуй мамонтом, трубя, лохматясь.
Уже предчувствуется воля, высь.
Крепись! Еще последний натиск.

Не какой-либо конкретный, а любой молодой поэт в России (если только он истинный поэт) может отнести эти строки и к себе.

Александр Неймирок

„Обиход 1909 года“

Вместе с православным учением восточные славяне переняли, в славянском переводе, византийскую церковную письменность, византийскую архитектуру, богослужебный устав, иконопись, формы благочестия.

До недавнего времени принято было полагать, что и наше церковное пение было в готовом виде заимствовано из Византии и только постепенно начало приобретать некоторые национальные черты, так, как это можно проследить в церковной архитектуре и иконописи.

Исследования византийского церковного пения X-XII веков привели,

Обиход нотного пения употребительных церковных распевов. Фотографическое воспроизведение московского синодального издания 1909 года. Издание бенедиктинских обителей в Курельи (Швейцария) и в Шевтоне (Бельгия). 1966. Стр. 340. Цена шв. фр. 45.—, в переплете — шв. фр. 50.—.

однако, к парадоксальному заключению, что не оно, по-видимому, легло в основу даже самых ранних церковных напевов Киевской Руси.

В то время как в области богословия, философии и изобразительного искусства славянам-язычникам нечего было противопоставить Византии, в области культуры музыкальной они сами стояли на сравнительно высоком уровне, обладая богатейшей певческой традицией, которая пронизывала весь их быт.

Не идолы, не жертвоприношения и не какие нибудь внешние обрядовые действия были главным выражением славянских языческих верований, связывавших их с «матерью сырою землей», с «красным солнышком» и с другими силами природы, а их обрядовые песни и «заклинания», элементы которых сохранились в наших народных песнях (в частности, в украинских колядках, восходящих к «закликаниям» Дажьбога).

Душевная и духовная жизнь славян находила свое высшее выражение не в четких философских построениях, как у греков, и не в магических действиях, как у египтян, а прежде всего в песне.

Углубив свою религиозную жизнь и перейдя от почитания сил природы к поклонению Творцу природы, славяне и к Богу Живому должны были обратиться на языке рождающегося в их собственной душе пения.

Ко времени Крещения Руси наряду с общенародными музыкальными жанрами (трудовыми припевками, исполнявшимися при тяжелых совместных работах, песнями, связанными с годовым кругом земледельческих работ, игровыми, лирическими и обрядовыми песнями) успела уже утвердиться и особая музыкально-эпическая культура княжеского двора и княжеской дружины. Существовали профессиональные певцы и сказители. Они пели и нараспев повествовали о героических подвигах богатырей, в поэтизированной форме хранили память о реальных событиях прошлого. В отличие от народных песен, которые строились на стихотворной основе, богатырские «старины» были скорее художественной прозой и исполнялись речитативом.

Есть некоторые основания полагать, что основные попевки наиболее ранних русских церковных песнопений восходят к манере, в которой исполнялись в Киевской Руси богатырские «старины».

В пользу такой догадки говорит и то, что первые христианские храмы на Руси созидали князья, и что петь в этих храмах могли на первых порах лишь профессиональные певцы, которых можно было в короткий срок обучить церковному пению. А такими профессиональными певцами и были певцы и сказители княжеского двора и дружины.

В этой среде и были, очевидно, в первые же годы после Крещения Руси созданы основные напевы так называемого знаменного распева. Для распространения складывавшихся в главных культурных центрах церковных напевов по всей стране, необходимо было создать систему записи этих

напевов, систему нотации. Такая система в Киевской Руси и была разработана. Нотные знаки этой системы получили название «знамен». Отсюда и мелодии, дошедшие до нас в «знаменной» записи, стали именоваться «знаменным распевом».

Знаменные напевы представляли собой речитацию прозаических (не стихотворных) текстов. Ритмика их органически связана с ритмикой живой речи. Затягиваются логически выделяемые слоги. Звуковой объем старейших напевов неширок. Квартовые и квинтовые ходы почти не применяются. Мелодическое движение остается в пределах неполной октавы — двух одинаково построенных тетракордов (тон — тон — полтона). Большинство слогов раскрывается не отдельными звуками, а довольно развитыми «попевками» — музыкальными узорами. Главное отличие от принятой в наших современных церквах напевов, лет сто назад гармонизованных на западно-европейский лад, — в полном господстве мелодического начала, в то время как в современном пении преобладает гармонический, а не мелодический элемент.

После татарского разгрома, традиции знаменного пения хранятся в Новгороде и оттуда переходят в Москву. Расцвет церковно-певческой культуры Новгорода совпадает со временем наивысшего расцвета новгородской иконописи. В фресках Спаса-Нередицы и Софии, в ассиметричных, растущих из земли массах церкви Преображения на Ильине улице, и в величественно-простых знаменных напевах безусловно дышит один и тот же дух, живет одна и та же душа.

Хотя русское народное пение давно знало так называемую «подголосочную полифонию», церковное пение у нас долго оставалось унисонным, одноголосым. Старообрядцы, отделившиеся от Православной Церкви в XVII веке, до сих пор знают только унисонное пение в церкви. Это — выражение особой духовности, своего рода воздержания, сосредоточения внимания на самом главном — на слове молитвы и на чистой мелодии, без «украшательства».

Характерно, что многоголосие начало проникать в богослужебную жизнь нашей Церкви в то же самое время, когда и иконы начали прятать в резные киоты, покрывать металлическими «ризами».

Однако, многоголосие, проникшее в церковное пение Московской Руси в XVI веке, в отличие от позднейшего, восходило к народной «подголосочной» полифонии и органически увязывалось с знаменным пением. Традиционную мелодию исполнял средний голос, который называли «путём». Его сопровождал «низ» или «подголосок», а верхнюю сопровождающую партию вел так называемый «верх» или «верхник».

Таким наше церковное пение просуществовало вплоть до вторжения музыкальных влияний поздней Византии («греческий распев», по-видимому, — сильно «руссифицированная» версия византийского церковного пе-

ния палеологовской Предвозрождения), Болгарии и Сербии (в XVI веке), а начиная с XVII века — Польши и Западной Европы.

В больших русских монастырях и в приходских церквях Московской епархии знаменный распев удержался вплоть до 1917 года.

Петербург же с середины XVIII века начал подчинять музыкальную жизнь Церкви личным вкусам царствующих особ и их фаворитов. Придворным композиторам-итальянцам — Арайя, Галуппи, Трэтта, Чимароза, Сарти и др. — начали поручать композицию музыки для православного богослужения, а архиереям «высочайше» предписывали вводить эти оперные пьесы в церковную практику. Лишь к концу XVIII века создается школа русских церковных композиторов, сумевшая хотя бы отчасти примирить итальянскую школу с остатками русской традиции, жившими еще в сознании и вкусах русского общества: это — Березовский, крепостной крестьянин графов Шереметьевых Дегтярев и, конечно, Бортнянский.

Ко времени их деятельности относится и первое издание «Обихода» (в 1772 году). В Обиходе были зафиксированы главным образом неизменяемые песнопения всенощного бдения и литургии, — знаменного распева, сложившегося за период польского владычества на Украине киевского распева, а отчасти и распевов греческого и болгарского. В «Обиходе» типографском все мелодии были переведены на так называемую «квадратную нотацию», впервые примененную в издании «Ирмологиона» Львовского Братства в 1700 году.

В последующих изданиях «Обихода» опускали мелодии, несозвучные вкусам руководителей петербургской Придворной певческой капеллы, и заменяли их так называемым «обычным распевом». Это — сокращенные, доведенные иногда до чтения на одной ноте мелодии, сложившиеся в обеднённой богослужебной практике придворных и военных церквей того времени.

В середине XIX века «Обиход» переводят на западно-европейскую систему нотации и одновременно все мелодии «гармонизируют» в соответствии с принципами гармонизации протестантских хоралов. Издания «Обихода» под редакцией директоров Придворной певческой капеллы Львова и Бахметева наиболее удаляются от подлинных напевов и музыкального строя русского церковного пения.

Но в последней четверти прошлого столетия началось медленное возвращение нашего церковного пения к его русским истокам. В отличие от наших эмигрантских условий, где восстановлению подлинного церковного пения уделяют внимание и сочувствуют лишь очень немногочисленные представители церковной интеллигенции, на русской почве этот процесс находил поддержку в широких кругах общества (например, в кругах славынофилов), у ктиторов множества приходских церквей (то есть купечества), у многих виднейших композиторов (например, Чайковского и Римского-

Корсакова) и у значительной части духовенства, не говоря уже о преподавателях наших духовных академий.

В новые издания «Обихода» начали вносить поправки — восстанавливать старые мелодии. Квалифицированные ученые справщики сверяли каждое новое издание с древними печатными изданиями и рукописями. Наконец, в 1909 году вышло издание «Обихода нотного пения употребительных церковных напевов», совершенно очищенное от искажений XVIII и XIX веков.

Знаменные напевы в их чистом виде стали доступны каждому регенту, каждому опытному дьячку. Стали они доступны и композиторам, стремившимся и для современных церковных хоров создавать песнопения, строго соответствующие и по форме и по духу традиционному русскому церковному пению. Знаменные напевы звучат не только у Кастаньского. Они лежат в основе и «Всеночной» Рахманинова.

И опять совпали во времени: «открытие» нашим обществом старинной русской иконописи, строительство в соответствии с древними архитектурными традициями таких замечательных храмов, как, например, Троицкого собора Почаевской Лавры (архитектора Щусева) и поворот наиболее чуткой и культурной части церковной и музыкальной общественности к «знаменной старине».

Велика заслуга католических обитателей, занимающихся изучением культурного наследия Византии и России, что они предприняли переиздание Обихода издания 1909 года. Очень ценно и то, что новому изданию Обихода предпослана насыщенная точными сведениями вводная статья профессора И. А. Гарднера — крупнейшего современного историка русского церковного пения, и его же указания, как пользоваться так называемой «квдратной» системой нотных знаков, принятой в «Обиходе 1909 года».

Надо только, чтобы сокровища нашего уставного церковного пения не остались достоянием узкого круга ученых и не пылились на полках библиотек, а звучали бы чаще и увереннее — в наших храмах.

Глеб Пар

„Советика“

Итальянский журнал о Советском Союзе

Среди стран Западной Европы широкая общественность Италии была долгое время менее хорошо «оборудована» для объективного, беспристрастного осведомления о Советском Союзе, чем другие страны — Германия, Англия, Франция... Италия не имела для этого ни специального научного института, ни особого органа печати, если не считать конфессионально-като-

лического журнала, освещающего духовную жизнь в России с особой точкой зрения, или экономическо-политических органов, которые не охватывают всего горизонта.

Этот недостаток был тем более ощутим, что огромной язвой в организме страны живет и действует разлагающе самая большая и влиятельная из коммунистических партий, существующих на Западе. Осведомление широкой общественности о России, информации, критические статьи, репортажи и т. п. были предоставлены большому числу газет и бульварных еженедельников разных толков. Эта пресса, следующая за теми или иными политическими течениями и партийными влияниями, которых так много в Италии и которые так запутывают итальянскую политическую жизнь, не дает органически целой картины. Из этого не следует, что в Италии нет знающих Россию и ясно судящих писателей и журналистов. Они были, они есть, да еще и какие! Но их голоса тонут и заглушаются в шумном водовороте противоречий, где громче всех выделяются назойливость и крикливость коммунистов. В этом разброде мнений долго не было маяка, направляющего ровный свет прожектора поочередно во все стороны.

Этот маяк был наконец поставлен в октябре 1965 года, когда был создан трехмесячник «Советика», одно название которого уже вмещает в себе его программу.

По счастливой случайности этому органу суждено было родиться не в Риме, с его столичной партийной свалкой, и не в уже перегруженных публикациями всякого рода промышленных городах севера, Милане или Турине, где веет меркантильный дух торговой выгоды и коммерческого заискивания перед советами. «Советика» родилась в Неаполе, издавна славящемся ясностью критического ума, возвеличенного знаменитыми философами Италии — неаполитанцами — Джанбаттиста Вико и Бенедетто Кроче. Благоприятную атмосферу создает журналу и близость древнего неаполитанского университета с его старинным и заслуженным факультетом восточных языков, каждый год выпускающим группы студентов русского языка. Ясность и скепсис юга служат броней против увлечений в ту или иную сторону.

Издатель, владелец и главный редактор журнала, промышленник Артуро Капассо, поставил это дело с самого начала на научно-беспристрастную основу. Он окружил себя сотрудниками специалистами по разным отраслям, знающими русский язык, обеспечил себе обмен материалами с Мюнхенским Институтом по изучению СССР и участие таких авторитетов, как директор этого Института др. Генрих Шульц, бывших итальянских послов в Москве Пьетро Кварони и Лука Пьетромарки и др.

Каждый номер журнала показывает его разносторонний характер. Во-

просы философии, политики, международных отношений, идеологические проблемы, экономика, литература и новые духовные запросы в передовых кругах русского народа трактуются со знанием, правдиво и беспристрастно. Журнал нашел живой отклик по всей Италии и за границей, особенно в академических кругах, в университетах, в прессе и в политическом мире, к которым он специально обращается. Словом, он явился существенным вкладом в духовно-политическую жизнь страны.

Октябрьский 1967 года номер «Советики» посвящен исключительно русской литературе большевистского пятидесятилетия. Составлен он по образцу антологий и содержит страницы прозы и стихотворения 18 авторов. Как всякая антология, так и этот выбор не может притязать на полноту. Подобно зеркальцу, бросающему только «зайчиков» от солнца на потолок, но не само солнце, так и антология дает только блески, блики из этих пятидесяти лет крестного пути, этой Голгофы русской литературы. Можно, разумеется, придрасться, почему не включен этот или тот автор, но честнее признать и оценить заслугу составителей этого номера Альфредо Адзарони и Владимира Бертацони.

Предисловие Адзарони передает сжато, точно и ставя точки над «i», что об этом тяжелом периоде литературных стремлений, страданий и усилий писателей, с одной стороны, и нажимов, преследований и насилий со стороны власти следует сказать.

Итальянский читатель, еще не знакомый с русской литературой — а таких очень много — почувствует через хорошие переводы и деловитую текучесть этой прозы, которой не до шуток, и ее приятную ручьистую говорливость. Некоторые из избранных отрывков, например, Пильняка, Анатолия Гладилина, Василия Быкова, Демина и даже несчастного слепца (в прямом и переносном смысле) Николая Островского следует особенно приветствовать. Они дадут почувствовать как бы сквозь щелку гнет и духоту в давящие советской жизни.

И вот, по прочтении этого сборника, все-таки возникает сожаление: а почему не включить было, например, рассказ Лили о своей жизни Миронову из «Лето в Сосняках» Анатолия Рыбакова; а почему не повесть Сергея Вохминцева из «Тишины» Юрия Бондарева; а почему не одно из стихотворений Бродского — хоть они и не печатаются в России, но написаны и выстраданы там? И такой перечень можно было бы продолжить. Но это не упрек. Спасибо «Советике» могут сказать итальянцы за то, что она дает.

А. Б.

«Современная русская литература»

Дортмундская городская библиотека около десяти лет тому назад приняла издание трёх серий, целью которых является дать читателю справочный и ориентирующий материал. Эти серии: 1. Современная литература (отдельные выпуски о лирике, прозе, драматургии и т. д.); 2. Народы в свете их литератур; 3. Авторы и мыслители нашего времени. Двенадцатым выпуском второй серии является разбираемый справочник. Руководство библиотеки подчеркивает, что русской литературе ею уделяется особое внимание и библиотека старается иметь все выходящие русские книги.

Предисловие к выпуску написано д-ром Георгом Доксом, уроженцем Петербурга и хорошим знатоком русской литературы (он занимает теперь кафедру русского языка в Венском университете). На его большом труде «Die russische Sowjetliteratur» (1961) мы еще остановимся, вероятно, в «Гранях».

В книге даны в алфавитном порядке краткие биографические сведения о российских писателях и поэтах; коротко характеризуется их творчество (преимущественно цитатами из немецких изданий); указываются произведения этих авторов, вышедшие в немецких переводах. Несколько условно, на наш взгляд, выделены две отдельные группы: «Русские писатели — свидетели революции. От Анны Ахматовой до Марины Цветаевой»; вторая — «Современные советские писатели. От Федора Абрамова до Владимира Цыбина». Заключает книгу ценный список сборников произведений русских авторов, вышедших на немецком языке.

В таком издании, охватывающем огромный материал, трудно, конечно, обойтись без недочетов. Имеются они и в этой книге. Мы не выискивали их специально и потому отметим лишь кое-что из того, что бросилось в глаза при первом просмотре книги. Указано, например, что НЭП длился до 1927 года; следует — до 1929 г. Псевдоним Е. Придворова — Демьян Бедный — переведен как «der arme Dummkopf» (т. е. «бедный дурачек», примерно). Д. Бедный, беря этот псевдоним, хотел лишь указать свою принадлежность к неимущему классу, но свои умственные способности он расценивал высоко. Правильно было бы его псевдоним перевести просто «der Arme» (или «Armer»). Кстати о Бедном: популярность его, подчеркнутая в книге, была искусственной, сфабрикованной сверху. В народе его не принимали, особенно после появления его кощунственного «Евангелия от Иоанна Бедного Демьяна». То же самое приходится сказать об отмеченной

Russische Literatur der Gegenwart. Sowjetliteratur. Ein Auswahlverzeichnis bearbeitet von Wolfgang Krenek. Mit einem Beitrag von Dr. Georg Dox — Die russische Literatur der Gegenwart. Stadtbücherei Dortmund 1967. S. 2 + IV + 170 + 2.

в книге «популярности» Макаренко, воспитателя-чекиста, рассказывающего в своих книгах лишь о том, что можно, и так, как ему и «органам» выгодно. О страшной стороне всей этой работы (и своей, в том числе) Макаренко умалчивает. Непонятно отсутствие в книге данных о В. Тарсисе: его переводы вышли и на немецком языке. Пропущен почему-то и Н. Гумилев — его стихи были в ряде немецких антологий («*Neue russische Lyrik*» 1960; «*Russische Lyrik 1185-1963*», 1963 и др.), а современный интерес к нему в кругах молодых русских поэтов и молодёжи вообще исключительно велик.

Отмеченные недостатки (есть и другие) не снижают ценности разбираемой книги. Она долго будет полезным справочником для интересующихся русской литературой двух первых третей XX века.

Ив. Сергеев

Сборник «Из Глубины»

Это — второе издание сборника, составленного весной-летом 1918 года группой выдающихся русских ученых, публицистов и политических деятелей. Первое издание было набрано и сверстано в том же 1918 г., но задержано советской цензурой. В 1921 году рабочие типографии Кушнарёва, где хранился готовый набор, самовольно отпечатали и выпустили эту книгу. Какое-то количество последней разошлось по рукам, прежде чем весь прочий тираж, так и не попавший в продажу, был конфискован властью. Два экземпляра книги попали тогда же за границу. По одному из них и выпущено это, 2-е, издание, в которое не внесено никаких изменений по сравнению с первым. Предпосланы лишь две новых статьи (Н. А. Струве и Н. П. Полторацкого), освещающие значение сборника и обосновывающие новый его выпуск после почти 50-летнего перерыва. Но обоснований, собственно, и не требуется: все статьи так же актуальны и интересны сегодня, как и полвека назад. Ибо трагедия России всё еще длится.

Одиннадцать авторов представлены в сборнике: С. А. Аскольдов, Н. А. Бердяев, Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, А. С. Изгоев, С. А. Котляревский, В. Н. Муравьев, П. И. Новгородцев, И. А. Покровский, Петр Струве, С. Л. Франк. Авторы — очень разные. Тем интереснее совпадение их анализов революции, как духовной катастрофы, а также путей возрождения свободной России.

Издательство ИМКА-Пресс сделало хорошее, большое дело, переиздав «Из Глубины».

Ив. С.

Новая книга Чехова в Аргентине

Из Буэнос-Айреса нам пишут:

В ближайшее время в одном из крупных аргентинских издательств выходит книга избранных рассказов Чехова в переводе Гейно Цернаска. Хотя Чехов-драматург пользуется в Аргентине огромной популярностью, чеховские рассказы не были до сих пор заслуженно оценены местным читателем, так как большинство существующих испанских переводов как Чехова, так и других русских классиков — это небрежные пересказы плохих французских, реже английских переводов. Избранные рассказы Чехова в переводе Г. Цернаска — это едва ли не первый испанский перевод Чехова, сделанный непосредственно с русского, притом человеком, безукоризненно владеющим как русским, так и испанским языками, обладающим литературным дарованием и имеющим солидный переводческий опыт.

И. Качуровский

СПИСОК КНИГ,

ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

В и н о к у р, Григорий О. Маяковский — новатор языка. Предисловие Дмитрия Чижевского. *Slavische Propyläen* Band 34. Wilhelm Fink Verlag, München 1967. S. VIII + 134.

И в а с к, Юрий. Хвала. Стихи. Изд. В. Камкина, Вашингтон 1967. Стр. 62.

И л о в а й с к и й, Марк. Стихи 1928-1960. Изд. автора, 1961. Стр. 354 + 8 + 1 вкл. (опечатки).

Л е о н г а р д, Вольфганг. Революция отвергает своих детей. Изд. Кондор, Карлсруэ (без указ. года). Стр. 578 + 4 нен.

(**М а р к о в**, Владимир — составитель и автор вводной статьи).

М а н и ф е с т ы и программы русских футуристов. *Slavische Propyläen* Band 27. Wilhelm Fink Verlag, München 1967. S. 182.

A r s e n i e w, Nikolaus v. Die geistigen Schicksale des russischen Volkes. Verlag Styria, Graz 1966. S. 304.

Krugovoy, George. La lotto col drago nell' epos eroico russo. Centro Studi Russia Cristiana, Seriate — Bergamo 1967. P. 228.

Ktorowa, Alla. Jurijs Gasse. — Meiner Schwester Garten. Aus dem Russischen übersetzt von Herta Schult und Maria Rubzowa. Изд. «Посоев», Франкфурт/М. 1966. Стр. 100.

Lensky, Sergio. Yo estuve alli... Santiago de Chile 1962. P. 146 + 2.

Payne, Robert. Lenin. Sein Leben und sein Tod. Rütten + Leoning Verlag, München 1965. S. 408 + 8 Bl. Fotos.

Russische Literatur der Gegenwart. Sowjetliteratur. Ein Auswahlverzeichnis bearbeitet von Wolfgang Krenek. Mit einem Beitrag von Dr. Georg Dox. Stadtbücherei Dortmund 1967. S. 2+IV+170+2.

Singer, Ladislaus. Raubt das Geraubte. Tagebuch der Weltrevolution. Seewald Verlag, Stgt. 1967. S. 296.

Stumme Klaviatur, Die... Russische Erzählungen der Gegenwart. Hrsg. v. Karl-Eugen Wädekin. Übers. v. K. E. Wädekin u. Georg Strauch-Orlow. Deutsche Verlags-Anstalt, Stgt. 1963. S. 348.

Заметки. Письма. Отклики.

ОТВЕТ ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА ПРИЗЫВ ЛАРИСЫ ДАНИЭЛЬ И ПАВЛА ЛИТВИНОВА

19 января 1968 г. в зале Мабильон, в Париже, французским обществом «Ар э Прогр» (Искусство и прогресс) был организован вечер протеста против незаконного суда над молодыми российскими писателями, — Гинзбургом и его товарищами. Этот вечер явился ответом на призыв Л. Даниэль и П. Литвинова об освобождении осужденных поэтов и о пересмотре их дела.

Общество «Искусство и прогресс» было создано с целью установить связь между французской интеллигенцией и молодой интеллигенцией восточных стран для поддержки с ними дружеских отношений и для ознакомления Франции с произведениями, интересами и взглядами молодых писателей социалистических стран.

Жаль, что мало кто из русских в Париже узнал о вечере. На вечер пришли лишь два эмигрантских писателя. Зато в зале было много русской молодежи. При входе продавалась «Белая Книга по делу Синявского и Даниэля» на французском языке.

Председатель общества «Искусство и прогресс» Э. Дюкуро в краткой речи сказал о необходимости заступиться за мужественных молодых советских писателей, единственная вина которых в том, что они не становятся раболепно во фронт перед начальством и высказывают лишь самые элементарные пожелания большей свободы и человечности. Он прочел текст петиции советскому правительству, а также перечислил имена многих французских писателей и общественных деятелей, подписавших эту петицию. Девяносто процентов из числа тех, к кому общество обратилось с воззванием о солидарности, дали свои подписи. Многие имена знакомы русским. Например, писатели Вильдрак, Кесель, А. Кастело, Р. Арон, Жюль Ромен, Рене Клэр, Ф. Саган, К. Гранова; артисты: Клод Дофин, М. Казарес, Ал. Кюни, Т. Кретиен, Магнев, Директор Круглого Стола и многие другие. Некоторые профессора в Сорбонне тоже собирали подписи для

воззвания. Известный адвокат Морис Гарсон, этот замечательный человек и судебный деятель, накануне смерти также подписал петицию.

Вот вкратце содержание воззвания французской интеллигенции: обращение к суду, чтобы он пересмотрел дело Гинзбурга и его товарищей; пожелание демократизации советской литературы; а также просьба, чтобы Лашкову, которую суд постановил освободить (после года предварительного тюремного заключения), поскорее выпустили на свободу.

Председатель сообщил также, что в Москве совершенно незаконно был арестован и обвинен в шпионаже в связи с этим судебным процессом молодой турист — Брокс, виновный лишь в том, что присоединился к протестующей молодежи.

Следующий оратор Гавриил Мацнев сообщил о недавней своей поездке в Россию. Он сказал, что не питает особых иллюзий насчет успешного ходатайства иностранной интеллигенции: процесс Дебре в Боливии свидетельствует о тщетности таких выступлений... «Но все мы должны протестовать, — подчеркнул он. — Вспомним письмо Чехова к Суворину о роли русского писателя в защите подсудимых, а также открытое письмо Л. Чуковской Шолохову! Вспомним дело Дрейфуса, который оказался невиновным. Обязанность международной интеллигенции — защищать безвинно осужденных. Среди молодежи чувствуется нескрываемое раздражение против царящего там произвола. Необходимо также остановиться на одном пункте: очень важно распутать ту путаницу, которая существует в умах советских людей относительно термина «политика». Отделить от политики те вопросы, которые не имеют к ней никакого отношения, как, например, метафизика, литература, свободная воля и т. д. У большевиков тенденция всегда всё сводить к «политике», т. е. обвинять в интригах против режима людей, интересующихся вопросами гуманитарного характера, как, например, это произошло с арестованными членами кружка имени Бердяева в Ленинграде. Власть в России политизирует всё, к чему прикасается. Если вы подарите советскому гражданину Евангелие, это будет уже считаться преступлением, политическим актом. Оратор встречался с Добровольским и вынес впечатление, что круг молодежи к которому принадлежит Добровольский страстно любит литературу, но чувствует себя обойденным, лишенным чего-то очень важного с самого детства. Хотя они и знают наизусть стихи Маяковского, читают произведения Горького, но навязанность этой официальной литературы их угнетает, и они явно предпочитают чтение запрещенных в России книг. Молодежь с жадностью читает по ночам А. Белого, Бердяева: именно в России это носит характер конспиративный, политический. Теперь, однако, стали возможны встречи с западными писателями, чтение иностранных журналов, но все же у молодежи не исчезло чув-

ство тайного комплекса. В России еще все сильны законы сталинского периода, хотя труп вождя давно выброшен из мавзолея.

Затем слово было предоставлено молодому фламандскому артисту и журналисту Ван дер Мершу, представителю Фламандского Союза содействия братьям с Востока. Он два раза ездил в Москву с целью выразить чувство солидарности интеллигенции своей страны молодыми русским артистам; он всюду старался деятельно пропагандировать мысль, что молодое искусство должно быть свободным. Он считает, что из всех социалистических стран в наиболее тяжелом положении находится Россия, хотя она как раз и заслуживает наибольшей похвалы, так как благодаря своему мужеству служит связью между свободным миром и угнетенными, которым не дано свободно высказаться. Долг всей европейской молодежи — выступить на ее защиту. В 1967 г. в Москве Ван дер Мерш передал советским официальным лицам петиции от вышеназванного Союза, с подписями 200 писателей, с фотографиями заключенных (копии этих писем были посланы в газету «Известия») и с адресом гостиницы, в которой делегат и его жена остановились в Москве. Здесь они посещали семьи заключенных писателей и их друзей. Оказывается, мать Гинзбурга не видела сына в течение целого года.

«Это мы — сказал Ван дер Мерш — уведомили Запад, дали знать в Антверпен обо всем, что видели и слышали в России. Мы действовали всегда открыто, не прячась. Четвертого января сего года мы покинули СССР. Перед посадкой на самолет на таможне нас ожидала полиция в мундирах КГБ. Был произведен грубый просмотр нашего багажа и учинен допрос. Были предъявлены обвинения в незаконных действиях: мы, дескать, не имели права писать письма Косыгину — там это не принято! Было еще обвинение, что в Москве находится наш сообщник, некий Соколов, от которого они будто бы получили показания. А мы никакого Соколова и не знали. Это их обычный метод запугивания! Но им не удалось. Я поднял такой шум и крик, бегал взад и вперед, произносил речи туристам, ругался и стучал сапогом по столу, подражая Хрущеву. Мои действия, видимо, смущили обычно самоуверенных полицейских, потому что они плохо обыскали наши вещи, и мне таким образом удалось привезти сюда неизвестную нигде фотографию Лашковой».

После этого молодой оратор, достойный потомок славного Уленшпигеля, с большим темпераментом продемонстрировал перед нами, как он изводил кагебистов, как он, чтобы окончательно сбить их с толку, скороговоркой продекламировал изрядно дерзкое и забавное фламандское стихотворение, изображающее пение птиц; сопровождал он свои слова весьма выразительной мимикой. Хотя мы и не понимали смысла его слов, однако, благодаря

выразительному звукоподражанию могли догадаться, что это какая-то очень злая эпиграмма на сильного, неповоротливого Голиафа...

«Вот как с ними надо обращаться, вот как кончилась в Москве миссия фламандской прессы», — закончил оратор свою речь под гром аплодисментов.

Следующий оратор — профессор Парижского университета Ж. Трен, известный французский славист. Речи его всегда содержательны, но в этот вечер он превзошел себя. Он заявил, что «мы здесь политикой не занимаемся, нас интересует жизнь духа». Очень много русских писателей стало жертвами большевизма. Первым из них был Гумилев. Не надо думать, что дело Пастернака, суд над Синявским и Даниэлем и нынешняя история с Гинзбургом — какие-то разрозненные трагедии, ничего общего друг с другом не имеющие. Ведь известно, что среди немногих советских писателей, осмелившихся нести гроб Пастернака, были Синявский и Даниэль, которых тут же сфотографовали кагебисты, явившиеся на похороны. С этого момента за ними устанавливается слежка, они уже взяты на прицел для будущих преследований. Что же касается дела Гинзбурга, издавшего «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», то советский суд избегает говорить о ней, а придирается к долларам, которые молодые поэты и писатели СМОГа получали из-за границы в качестве гонорара за свои книги и которые обменивали на рубли. Этот обмен судьи и называют спекуляцией на черном рынке... Хотя законы и приемы советского правительства не изменились, однако, очень многое в России изменилось. Это началось с Пастернака. Он был первым, посмевающим вслух критиковать действия правителей. После него появились и другие смелые люди.

Надо было обладать в те дни большим мужеством, чтобы нести гроб Пастернака, — сказал проф. Трен. — Я лично был на его могиле, она очень скромная. Могу себе представить без труда, как эта небольшая кучка верных друзей и почитателей стояла над ней после того, как гроб был опущен в могилу, и как читали они вслух его нигде не напечатанные стихи. Вместе с ними здесь присутствовала вся Россия. Но это было лишь началом того движения, которое все больше разрастается. Обратите внимание, как мужественно держат себя на суде обвиняемые, а также их жены, друзья, советское общественное мнение! То ли было при Сталине! Жены спешили развестись с мужьями, дети отрекались от родителей. В Чехословакии был случай, когда один сын, отрекшись от отца, объявленного врагом народа, переусердствовал, заявив, что желает присутствовать при его повешении! Теперь не та пора, не те люди. Поведение советских писателей на суде достойно декабристов. Особенно дух нового времени чувствуется на последнем суде, вернее, пародии суда, который происходил при закрытых дверях. В зале присутствовали лишь переодетые кагебисты. Зато молодежь у две-

рей негодовала, требуя, чтобы ее впустили. Когда оттуда вышла жена Галанскова, ее с триумфом понесли на руках. Адвокатам, защищавшим поэтов, поднесли цветы. В глазах общественного мнения осужденные поменялись местами со своими судьями. Что же с того, что Добровольский не выдержал? Вы все знаете, что такое промывание мозгов! Не всякий может вынести это. Вспомните наш резистанс, что делалось при немцах... Конечно методы изменились, они стали более «научными». Надо иметь крепкую волю и ясный ум, чтобы не поддаться, не запутаться». Далее в своей речи оратор описывает эти методы. «Но кроме тех, кого могли сломить, сколько других с непреклонным духом! «Патриот не имеет права лгать», сказал один из них. Какие благородные слова! Да, что-то действительно переменялось в России! Поступок Литвинова, за который он тотчас же лишился своего места, достаточно красноречив. Общественное мнение растет и ширится неудержимо. Демократизация в России неизбежна. К прошлому возврата нет. Нас с вами, конечно, назовут антирусскими. На самом же деле мы отстаиваем русскую честь. Мы верим в торжество справедливости и человечности. Даже если наши усилия сейчас тщетны, мы все же обязаны протестовать, так как наши голоса донесутся до заключенных, и они узнают, что их друзья не покинули их, что мы боремся за них.

Г-н Винатрель выступил от имени французских «Монтаньяров», т. е. современных французских якобинцев (в какой другой стране возможна такая привязанность к традициям прошлого, такая романтика!). Он выразил свое сочувствие тем, кто борется в тоталитарных странах за демократические права. «Мир во всем мире будет возможен лишь тогда, когда восторжествует лозунг «Свобода, равенство и братство». Эти молодые люди, ставшие на путь борьбы за волю своей страны, быть может, и не подозревают, что они борются также и за всех нас! Иначе говоря, за предоставление права высказываться политическим противникам. Советское правительство должно было бы понять, что народное терпение может лопнуть, как взрывается котел, если не выпускать из него пара. Мы верим, что и на советских верхах есть люди, понимающие и даже сочувствующие неизбежной эволюции».

Председатель предлагает высказаться присутствующим.

Слово просит д-р Музияновец, глава украинского движения, поддерживающего Объединение европейских федералистов. Указывая на портреты молодых российских писателей, он называет их первыми ласточками в борьбе за освобождение народа. Он предлагает ознакомиться с письмами, полученными им из лагерей, об ужасном положении заключенных. Лагерное начальство ненавидит Ю. Даниэля; он на дурном счету, ибо этот ге-

роический человек неустанно печется о своих товарищах. Врачей у них нет, есть лишь санитары. Даниэль, например, пишет отчаянные письма в Москву, требуя врача к тяжелому сердечному больному. (Ясно, что автор повестей «Говорит Москва» и «Искупление» иначе и поступить не может! — О. М.). Все это подтверждается заявлениями жены Даниэля. Оратор предлагает прибавить к петиции имена 20 писателей-борцов, солидарных с осужденными в России.

Мацнев обращает внимание на тот факт, что многие газеты — французские и другие — почему-то считают дурным общение советских писателей с нами, русскими эмигрантами. Однако по поводу празднования 50-летия революции во Франции по радио говорилось много неточного и неверного, и лишь сын П. А. Столыпина А. П. Столыпин внес в эти заявления необходимые поправки и этим спас честь французской интеллигенции.

Слова просит буддист-индус. Он выражает глубокое и сердечное сочувствие храброй и мудрой советской молодежи, которая поняла, что слово и дело неотделимы друг от друга так же, как душа и тело, чему учит буддийская религия. Оратор верит, что цветок Лотоса расцветет и в России.

Голос из публики: Мы бы хотели знать, сколько приблизительно лагерей в России, сколько в них заключенных?

Мацнев: Насчет лагерей трудно ответить, а число заключенных — приблизительно восемьдесят тысяч человек. А сколько русских писателей погибло при большевиках! А много ли пострадало при царях?

Винатрель: И сравнения быть не может! Когда Герцен стал эмигрантом, книги его имелись во многих библиотеках, в том числе у самого царя. А сейчас в России нельзя найти ни «Преступления и наказания», ни «Братьев Карамазовых», ни «Бесов» Достоевского.

Оратор рассказывает любопытные детали о том, как писатель Арман Лану поехал в Москву, где на съезде писателей смело критиковал отношение советского правительства к русским писателям. Публика устроила ему бурную овацию. Шолохов же, за его резкие нападки на этого французского писателя, удостоился лишь двух-трех слабых хлопков. В «Известиях» об этом съезде писали потом, что на нем много говорили о соцреализме...

Председатель вносит предложение: по телефону просить Косыгина, чтобы Лашковой разрешили приехать во Францию в качестве свидетельницы. Если же в просьбе откажут, тогда будет ясно для всех, что у них совесть не чиста, что суд что-то скрывает.

Не прошло и суток после упомянутого мною вечера, как мы узнали о запрещении впредь вмешиваться иностранным журналистам в советские дела и посещать семьи заключенных. Приезд Лашковой в Париж откладывается надолго...

Мне кажется, что лучшим способом выразить нашу благодарность друзьям-иностранцам за их любовь к России было бы полностью опубликовать их речи, которые удалось записать.

О. Можайская.

«МИНИСТРАМ, ВОЖДЯМ И ГАЗЕТАМ — НЕ ВЕРЬТЕ!»

Через четыре дня после окончания позорного процесса над Александром Гинзбургом, Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой газета «Известия» опубликовала статью под названием «Затянутые одним поясом». Не в силах длить молчание из-за протестов изнутри страны и извне, партийно-полицейские власти прибегли к обычному для них методу — к клевете. Главной целью статьи было доказать, будто обвиняемые были не писателями, а «просто уголовниками».

За четыре месяца до того, после не менее постыдного суда над Владимиром Буковским, Вадимом Делонэ и Евгением Кушевым, в советской печати появилась лишь куца и невнятная заметка — да и то на страницах «Вечерней Москвы». Однако и в той заметке видна была аналогичная цель: показать, что судили не литераторов, а «хулиганов».

Передо мной — стихи Г а л а н с к о в а и проза Б у к о в с к о г о. Я снова и снова перечитываю эти стихи и рассказы; я думаю — кем же надо быть, чтобы назвать их авторов не писателями, а уголовниками и хулиганами. Но потом вспоминаю, что Ленин как-то назвал творчество Маяковского «особым видом литературного хулиганства». И я понимаю, кем надо быть: ленинцем. Одни ленинцы скручивали Буковскому и Галанскову руки и швыряли их в камеры, другие ленинцы разыгрывали над ними зловещие судебные комедии, а третьи потом на них клеветали. Нет, недаром нынешние заправила России по всякому поводу и без онога поминают Ленина и «ленинские принципы».

Владимир Буковский начал писать еще тогда, когда был не Владимиром, а просто Володей. За год по окончании средней школы он выпустил рукописный журнал « М у ч е н и к ». До сих пор об этом первом литературно-публицистическом опыте Буковского ничего не было известно. Сейчас о журнале «Мученик» получены интересные сведения.

В. Буковский был инициатором, редактором и почти единоличным автором журнала. В выпуске «Мученика» участвовали еще четверо юношей — все из одного с Владимиром класса. Эти молодые люди главным образом

иллюстрировали журнал (он выходил с рисунками) и писали небольшие заметки о школьной жизни. Сам же В. Буковский писал на темы, выходящие далеко за пределы школьного мирка. Первая же статья журнала, его передовица, называлась: «В начале было Слово». Трудно сказать, испытывал ли молодой Буковский религиозные чувства, но слова из Священного писания он поставил в заголовок своей статьи явно не из религиозных соображений, а ради сильного литературного приема. Дело в том, что вся передовая статья была посвящена крушению коммунистических идеалов, эрозии высоких «Слов» из пропагандистского набора КПСС. Статья звучала сильно и зрело. Читая ее, трудно поверить, что автору не исполнилось тогда и восемнадцати лет.

О силе молодого Буковского-публициста можно судить по тому, что журнал «Мученик» вызвал настоящий переполох в кругах московских партийных руководителей. Кто-то из услужливых учителей-доносчиков, возможно, штатный информатор КГБ, отнес журнал «куда следует» (В. Буковский учился в привилегированной школе № 69 в Староконюшенном переулке Арбата, где было немало высокопоставленных «сынков» и «дочек» и куда соответственно подбирался штат). И сразу же «Мученик» был принят всерьез. Состоялось специальное заседание МК партии, на котором «сам» Егорычев метал громы и молнии, потрясая номером журнала. Директор школы был уволен и исключен из партии. Выгнали из школы и классного руководителя В. Буковского. А у Буковского-старшего, в то время заместителя главного редактора журнала «Наш современник», начались неприятности. Константин Иванович Буковский был вынужден оставить работу в редакции и стать «вольным очеркистом». От худших последствий его спасло только то, что он имел прочную репутацию «верного и надежного» литератора, безропотного слуги режима. Таковым, впрочем, он остается по сей день, и эта пропасть между отцом и сыном — тоже знамение времени в России.

Затем стали появляться и ходить по рукам рассказы Владимира Буковского — «З в е з д ы», «А к в а р и у м», «Ч е л о в е ч е к». Этот цикл, написанный в 1960-62 годах, пленяет редким в современной русской литературе качеством — лаконизмом и вместе с тем предельной законченностью. Сравнить миниатюры Буковского не с чем, голос у него свой, ни на кого не похожий.

Последний из известных мне рассказов Владимира Буковского, «З в о н а р ь», написан в 1966 году. Я думаю, это самый глубокий и точный из всех. Читал и бормотал строчки из подпольного русского стихотворения, пока еще не опубликованного на Западе:

Бьет звонарь, кидая тело как на плаху, —
Коронован, чтобы звонницей владеть!

Исступленный и слепой, рванув рубаху,
В кровь и слезы перезванивает медь...

В августе 1967 года власти предприняли попытку, по выражению Солженицына, остановить перо писателя при жизни. Они отправили Владимира Буковского на три года в лагеря. Но десять лет назад Евтушенко выразил, правда, отнюдь не новую мысль четверостишием из стихотворения «Карьера»:

Зачем их грязью покрывали?
Талант — талант, как ни клейми.
Забыты те, кто проклинали,
но помнят тех, кого кляли.

Будут помнить и автора «Человеческого манифеста» Юрия Галанкова — своеобразного, вполне сложившегося поэта. Рукописные тиражи его стихотворений и поэм уже сегодня измеряются сотнями и тысячами.

Юрий Галанков — поэт одной темы. Во всех своих стихах он борется за право человека на мир, на счастье, на нежность. Он защищает Человека как индивидуальность, как душу живую, а не как «этой силы частицу», не как «строителя коммунизма». На страх хозяевам России он срывает с Человека всю пропагандистскую и идеологическую мишуру:

Я жгу знамена,
я меняю
воззванья, марши и мятежность
на золото и зелень мая,
на человеческую нежность.

Галанков предупреждает: «Министрам, вождям и газетам — не верьте!» Он бросает вызов: «Я поднимаюсь, меня не убить ни подлостью, ни свинцом». Он предсказывает: «Станут сказки апостолов былью, вами попорченные в гордыне. Они будут шрифтом извилин напечатаны в каждом отныне. И, как прежде, страстями объятый, будет мир неустанно искать... Но только не в горле брата львиную долю куска».

У Галанкова, насколько мне известно, нет ни одного антисоветского стихотворения в банально-политическом смысле слова. Но каждый, кто выступает за Человека в античеловечной советской системе, считается опасным врагом. И Галанков закономерно «удостоился» того же высшего наказания по статье 70, что и Андрей Синявский, — семи лет каторги.

Л. Донатов

ПРОТОКОЛ ИЗ МОСКВЫ

Политический документ в виде произведения искусства — это сочетание нам давно хорошо знакомо. Манифесты, лозунги, отчеты о процессах или «открытые письма» повсюду в наше время делаются составной частью литературы и живописи. Их используют на плакатах, «рубят» на стихи, с пафосом повторяют на сцене, — распределяют по ролям. Беда таких начинаний неизменно одна и та же: то, что нам при этом сообщается, давно известно из газет или истории. Неотъемлемое качество искусства — новизна, неслыханная новость отпадает с самого начала. Информация становится пропагандой, историческая объективность — демагогией. «Следствие» Петера Вайса было в этом отношении устрашающим примером.

А что если документация действительно содержала бы «неслыханные новости», новости, которые обычно любители информации не смогли добыть или о которых умышленно умолчали? Не получил бы тогда право составитель такой информации запросто пренебречь формальными прикрасами и не создал бы он при этом замечательное произведение искусства, шедевр который смело мог бы стать в один ряд с самыми лучшими произведениями последних лет? Читая «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» (составитель Александр Гинзбург, Москва, перевод Елены Гуттенбергер, «Посев», Франкфурт/М., 415 стр., ДМ 16.80), почти склоняешься к этому мнению.

Речь идет о той документации, за которую Гинзбурга только что осудили в Москве на пять лет исправительно-трудовых лагерей, о той документации, манускрипт которой молодой русский литератор послал советскому президенту Подгорному до того, как передал его на Запад для публикации. Увесистый том содержит почти всё, что дошло до общественности о процессе Синявского и Даниэля — сообщения агентств печати, статьи из советских газет, письма-протесты русских и западных писателей, призывы нелегального русского студенческого комитета к демонстрации солидарности с обвиняемыми. В центре всего, однако, торопливая стенограмма самого судебного разбирательства: открытие суда, допрос, показания свидетелей, речи прокурора и защитника, вынесение приговора.

Утверждение, что стенограмма судебного разбирательства — литературная сенсация, не будет преувеличением. Она дает нам не только возможность проникнуть в ведение процесса, — что было бы для нас иначе невозможно, — но она незаметно становится примером взаимоотношения между духом и властью вообще, удручающей картиной непонимания, которое неизбежно возникает, как только литературу пытаются мерить меркой государственной пользы.

В особенности показателен допрос Синявского. Прокурор пытается

Перевод статьи Гюнтера Цема из литературного приложения к газете «Die Welt» от 18 января 1968.

изобличить писателя в «антисоветчине», без конца цитируя из книги «Абрама Терца», причем мнение писателя он без всякого стеснения отождествляет с мнением его героев. Синявский терпеливо пытается разъяснить, что писатель отнюдь не должен быть идентичен со своими персонажами, что писатель — Протей, Арлекин, надевающий то тот, то другой наряд. Но для прокурора всё это лишь «камуфляж»: «враг народа» пытается спрятаться за своими героями, и с него следует «сорвать маску».

Прокурор с наигранным отвращением читает вслух одно особенно «преступное» место из книги «Терца»: «Пьянство — наш коренной национальный порок и больше — наша идея-фикс. Не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном, пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть её в блаженное бестелесное состояние. Водка — белая магия русского мужика...»*) И затем набрасывается на Синявского: «Вы называете наш прекрасный народ нацией пьяниц!» Синявский пытается возражать, что у Гоголя тоже можно найти подобные высказывания. Прокурор возмущен: «Что? Теперь вы сравниваете себя еще и с Гоголем? У вас мания величия!» (Одобрительный гул в зале).

С чувством глубокого стыда читаешь этот протокол, стыда за то, что такое возможно «во имя социализма». Сцена будто из Орвелловского романа «1984»; после каждой строки приходится напоминать себе, что перед тобой не научная фантастика, а сухая стенограмма судебного разбирательства, происходившего в 1966 году. Явные стилистические небрежности помогают этому. Целые пассажи допроса не записаны, часто попадаетесь выразительное примечание: «непонятно». Тайный стенограф, донесший до нас этот замечательный документ, определенно сидел не в первом ряду.

Но именно небрежности «Белой книги» особенно способствуют её действительности: сразу чувствуешь подлинность атмосферы происходившего и вполне понимаешь, что на глазах тайной полиции более точная работа была просто немислима. Если принять во внимание все обстоятельства, то Гинзбург и его товарищи работали добросовестно сверх возможного и заслуживают нашего восхищения: как за талант документации, так и за большое мужество и превосходное чувство солидарности.

И всё же «Белая книга» — не произведение искусства. Она лишь учит нас, что представляют собой все те драматизированные, гонящиеся за сенсацией и переложённые на стихи «документации», которыми завален книжный рынок Западной Германии. «Белая книга» Гинзбурга не драматизирована, не гонится за сенсацией и не переложена на стихи — и именно поэтому она несравненно выше западных псевдодокументаций. Она честно придерживается избранной формы. Её задача информировать, и больше ничего. И как раз благодаря этому — она необходима. **Гюнтер Цем**

*) См. «Белую книгу», стр. 226-227.

Из переписки с Россией

Ниже мы приводим отрывки из писем, полученных сотрудниками редакции и самой редакцией от читателей и друзей из России. Не все знакомы с нашим журналом, но многие интересуются теми же проблемами, которые поднимаются на страницах «Грани». Это и оправдывает, как мы полагаем, нашу публикацию. Подписи мы заменяем инициалами, а даты на письмах опускаем из предосторожности. — Ред.

«...Искусство состоит не в том, чтобы гоняться за славой. Поэт должен отбросить все соблазны, всё, что мешает ему, всё внешнее, мешающие себя выразить. Он должен служить только искусству, только своему творчеству, вне зависимости от того, модно это или нет, будет успех или нет. Только перед самим собой, перед своей совестью он отвечает. Поэзия должна быть содержательна, глубока.

Конечно, в поэзии может быть и гражданский мотив. Ведь всё дело в таланте. Вот Мандельштам. Блестящий поэт. Я его очень высоко ценю. Написал ерундовское четверостишие, направленное против Сталина, — и погиб. Погиб настоящий поэт, большой, и это из-за какого-то четверостишия. Кому это четверостишие было нужно? А поэта нет!

Мне кажется, что «Грани» должны были бы больше стать журналом художественным, искусства. Они не должны бы отвлекаться на мелкую пропаганду. Бывает, что они придают слишком много внимания произведениям, которые этого не заслуживают. И это только потому, что эти произведения подверглись критике. «Грани» не должны были бы поддаваться моде и должны судить о том или ином произведении исключительно с художественной точки зрения. Вне зависимости от того, обругали его или похвалили.

Когда Вы печатаете произведения из России, думаете ли Вы о том, чтобы не подвести автора? Впро-

чем, насколько я знаю, «Грани» еще никого не подводили.

Не нужно ориентироваться на публику. Публика сидит, смотрит в рот и ждет какой-нибудь критической фразы, чтобы грохнуть аплодисментами. Многие именно за этим и гонятся. И делают себе на этом славу. Или оденут длинные яркие свитера и ходят, как Рождественский, который понавез их из-за границы и хвастается. Всё это дешевка. Настоящие художники скромны. Возьмите Пастернака, Ахматову, Солженицына, Заболоцкого — всё это предельно скромные люди и за дешевой славой не гнались. Их почти никто и не знает. О них не кричат.

У нас, знаете, так: пока поэта не печатают, а шепотком говорят о нем друг другу на ухо, то кажется, что действительно большой талант. А напечатали его вещи — смотришь, и нет ничего особенного. Так, например, было с Коржавиным и другими.

У нас сейчас так легко выйти в герои и передовые. Достаточно одной-двух фраз, направленных против «культы личности», и уже поэт или писатель зарабатывает славу «смелого», «мужественного», хотя сейчас, чтобы сказать такую фразу, не надо совсем ни смелости, ни особой дерзости.

Вас интересует моё мнение о некоторых поэтах и писателях. Отвечу по порядку, как Вы спрашиваете.

Евтушенко понадавал векселей, которые не может оплатить. В ре-

зультате бесполезен кому бы то ни было, кроме самого себя. Разочарование в нем началось у тех, кто им был очарован. А я никогда не был им очарован. От него ждали, что он, сказав большое А, скажет и большое Б. Но он не сказал. Впрочем, он ведь не виноват, что его приучили лгать, а от этой привычки ой как трудно отвыкнуть. О нем как о человеке я ничего плохого сказать не могу. Вот, захотел славы — и получил её. Вопрос, какая слава?

О Рождественском я уже писал. Что добавить? Позирует. Бессодержателен.

Твардовский — это политик. Извивается как уж. Ненавидит настоящих поэтов, поэтому таких и нет никогда в «Новом мире». Всё, что там печатается из поэзии, — барахло. Он ненавидит, например, Мартынова, да и других, а ведь Мартынов очень большой, настоящий поэт. И никто его не знает. Впрочем, в «Новом мире» всегда есть что-нибудь интересное для чтения.

Трагедия Ахмадулиной как поэта в том, что она очень увлечена формой и за формой теряет содержание. Она изящна, умна, но несчастна в личной жизни. Из поэтесс лучшая, что у нас сейчас есть, это Новелла Матвеева. Очень своеобразный молодой поэт. Думающий. У неё каждое стихотворение интересно. У неё своя, особая точка зрения на мир.

На Окуджаву я обратил внимание еще в «Тарусских страницах», сборнике, который постигла такая трагическая судьба. Но не как на поэта. В поэзию его привела песня. Думаю, что петь он, вероятно, больше не будет. Наверное, и стихи бросит писать, хотя его сборник «Острова» очень хорош, так же, как и многие стихи в его книге, изданной «Посевом». Для того, чтобы жить, написал несколько киносценариев, но я думаю, что он придет к самому главному — к прозе. Это его призвание.

Не знаю, чем Вас заинтересовал Дудинцев. Его роман ничего общего с художественностью не имеет. Я не смог его даже дочитать. Совершенно непонятно, почему его на Западе подняли на щит. Думаю, что и сам Дудинцев понять не может, и вообще он никакой не писатель.

Другое дело Солженицын. Это большой писатель и поэтому очень скромный человек. К своим произведениям он относится как к «пробе пера». Он говорит: ведь я только учитель. Но Вы знаете его, может быть, лучше, чем я. Во всяком случае, его этюды я от Вас получил. У него еще есть рукописи. Говорят, что он верующий человек.

Ленинград

Н. Б.

«...Говорят, что ленинградский историк Энгватов, которого Тарсис описал в «Палате № 7» под псевдонимом Моренный, покончил самоубийством.

Я должен сказать, что «Палата № 7» расценивается не столько как художественное произведение, но как обвинительный документ такого порядка, как «Я обвиняю» Золя.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что литературная молодежь проводит подпольные семинары по эстетике и философии. Любые книги по этим вопросам пользуются колоссальным спросом. Если у вас есть возможность перебросить нам всё, что возможно, из этой области, благодарности нашей не будет предела».

Москва

С. А.

«...Среди одной группы молодежи имеет огромный успех № 18 «Переписки с друзьями журнала 'Грани'» (отрывок из книги С. А. Левидцкого «Трагедия свободы»). В

этой группе выучивают отрывок наизусть, мечтают прочесть всю книгу «Трагедия свободы».

Москва

Н. И. Д.

«...Недавно один из моих мастеров, интересно отметить — член партии, показал мне стихи, которые были разложены в цехе по станкам перед началом работы. Стихи простые. Начинаются про «Никиту-полководца», а потом перебираются все: и Брежнев, и Косыгин, и вся компания».

Горький

И. П.

«...Я имею возможность на своем телевизоре смотреть не только нашу программу, но и польскую. Никакого сравнения! В польских передачах много интереснейших фильмов, спектаклей и других телевизионных жанров. Бывали такие дни, когда из Польши передавали по 10 фильмов в неделю, в то время как наши показывают от силы два-три. Интересно, что Польша почти не показывает своих отечественных фильмов. За полгода я посмотрел около 60-ти фильмов, из них только три были польские, остальные — английские, американские, французские. Я видел и слышал Элвиса Пресли, Льюиса Армстронга, Билла Холлдей, биттлсов. Видел очень интересную серию детективных фильмов. Были прекрасные выступления французского кабаре, впрочем, и польские кабаре мало в чем уступают. В общем, программа у поляков настолько интересная и разнообразная, что её смотришь от вечера и до ночи без отрыва».

Минск

П. Т.

«...Сведения из кругов аппарата ЦК партии. В ЦК поступает всё нарастающее количество писем

членов партии с вопросом: «Как быть нам?» Спрашивают — не были ли напрасны все жертвы, не напрасной ли была и сама революция, как напрасной оказалась ведь Французская революция. Люди иногда даже ставят вопрос: возможен ли из такого положения иной выход, чем новая революция?»

В одном из закрытых писем ЦК для всех партийных организаций указывалось на провал целинной затеи. Отмечалось, что прав был Молотов, противодействуя осуществлению этой затеи. Сообщалось, что отныне остается только спасать то, что еще можно спасти, постепенно вновь забрасывая целинные земли».

Москва

С. И. Б.

«...Интеллигенция, подобно власти- переживает сейчас глубокий кризис. Надо дать ей понять, что если она не станет говорить и писать то, что надо, умрет культура. Недаром интеллигенцию так привлекает к себе западная культура. Пока интеллигенция не заговорит о насущных вопросах, она никому не будет нужна. Перед нею выбор: правда и признание народом, ложь и небытие. Чтобы вздыбить интеллигенцию, надо бросить ей: «Сталин — логическое порождение Ленина». Это Ленин придумал «демократический централизм» и запретил образование фракций в партии. Сейчас пришло время поднять вопрос о необходимости фракций. Власть переживает кризис. Надо воспользоваться им, заявляя, что в том, что даже внутри партии нет свободы, виноват не кто иной, как Ленин, и что из-за Ленина и его «дела», которое «не умерло», появление нового Сталина возможно и сейчас».

Москва

Н. И. П.

«...Недавно я слушал по радио передачу — статью критика Кузнецова. Он там упоминает книгу иеромонаха Леллота «Решение проблемы жизни», выпущенную в Брюсселе в издательстве «Жизнь с Богом» на русском и др. языках. Если достанете, то купите и для меня, а потом попозже пришлите. Я хочу её просмотреть в оригинале»:

Москва

Я. Б.

«...Студенты в своей среде совершенно откровенно обсуждают любые проблемы, в основном, в кружках из 5-10 человек. Практически все студенты входят в тот или иной кружок из близких друзей. Знает об этом, вероятно, и администрация (может быть, последней даже доносят о разговорах в некоторых кружках). Но преследований нет, и создается впечатление, что администрация МГУ больше всего боится вызвать инциденты. Но весной 1965 г. был случай, вызвавший резкую реакцию. В одной из больших аудиторий, когда профессор опоздал на лекцию, на кафедру поднялся студент, член партии, и начал разбирать недостатки колхозной системы. В течение получаса на кафедру, один за другим, поднимались студенты и всё более резко критиковали экономическую политику партии. Почти все выступавшие были членами партии или комсомола. Всех их вызвали затем на партийное собрание. Партком МГУ потребовал от ректората исключения этих студентов. Но собралась большая группа студентов, русских и иностранных, и заявила протест против решения парткома. Мотивировка протеста: всё, что было сказано выступавшими, — правда, почему и нет оснований их исключать. Пошли долгие перегово-

ры, в результате которых студенты не были исключены.

Интересен стиль обсуждения в студенческих кружках. Они носят не столько критический, сколько конструктивный характер — «как надо сделать, чтобы...» На эту тему и высказываются соображения. Практически можно считать, что студенческие круги сейчас обсуждают новую политическую программу. Она не имеет философского фундамента и затрагивает главным образом отдельные политические, экономические и социальные вопросы. В МГУ ходит по рукам большое количество всяких меморандумов, бумаг, стихов и пр. Вот, как пример, на память содержание одного из таких меморандумов: «...Россия — одна из наиболее богатых стран, если не самая богатая. При наличии колоссальной территории и огромных природных богатств, Россия всё же находится на уровне экономически самых отсталых стран Европы. Как это получилось?..» Далее идут требования пересмотра всей системы народного хозяйства. Как наиболее вредные факторы в экономике страны указываются: а) плановость, б) отсутствие соучастия трудящихся в управлении, в) отсутствие материальной заинтересованности. Весь документ сводится к положению, что для оздоровления экономики страны необходимо восстановление в определенных рамках «частного предпринимательства».

Еще год том уназад никому в МГУ и в голову не пришло бы говорить такие вещи, как сейчас говорят. Власть не решается на репрессии, потому что студенты чуть что — устраивают скандалы».

Москва

И. Р.

ПИСАТЕЛИ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА

«Вы можете выиграть этот бой, но вы всё равно проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию.

Войну, которая уже началась и в которой справедливость победит неотвратимо...»

Москва, «Феникс 1966»

«Современной молодой русской литературе необходимо систематически оказывать организационную, техническую, моральную и материальную поддержку...

Западная культура должна помнить, что в современной России литератор обречен на безграничный произвол властей...»

Ю. Галансков «Открытое письмо М. Шолохову»

Мы не можем пройти равнодушно мимо миллионов человеческих жертв, погибших в подвалах советской охраны, в концлагерях и тюрьмах; мимо лжи, насилия и произвола, царящих на нашей родине, мимо уничтожения наших святынь и преследования верующих; мимо расхищения и разбазаривания народных богатств, чинимых коммунистической властью.

Но там, где есть насилие, где существует несправедливость, там рождаются и силы, борющиеся за свободу духа, за свободу слова и творчества. На эту борьбу выходят смелые, крепкие духом. На наших глазах силы борцов множатся. На место одиночек, поднимающих знамя борьбы, приходят целые группы. Происходит феномен объединения освободительных сил.

Коммунистическая власть надеется задушить этот процесс ссылками, тюрьмами, заключением в «психиатрические» казематы и концлагеря. Тщетные надежды! К именам писателей и поэтов Осипова, Синявского, Даниэля, Кузнецова прибавляются новые — имена молодежи: Владимира Батшева, Алексея Добровольского, Владимира Буковского, Веры Лашковой, Вадима Делонэ, Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга, Евгения Кушева, Петра Родзиевского, Виктора Хаустова.

Фонд Свободной России, оказывающий помощь заключенным в Советском Союзе, финансирующий радиовещание «Свободной

России», размножение и переброску в Россию созданных как там, так и за границей трудов и материалов, выпустил сейчас серию марок — «Писатели в борьбе за свободу творчества», доход от которой пойдет на проведение кампаний в защиту арестованных писателей и поэтов, на помощь их семьям и на распространение в России их произведений. «Писательская серия марок состоит из 6 штук и стоит 2 американских доллара (или эквивалент в местной валюте). Имеется также и специальный блок этих марок с эмблемой Фонда, который стоит 2.50 американских доллара. Мож-



Адрес Фонда: Free Russia Fund, Flurscheideweg 15, 623 Frankfurt/Main 80.

Банковский счет: Swiss Bank Corporation, 4002 Basel Switzerland. Acc. Rubr. „Freies Russland“, 461.971.

но покупать также и отдельные марки по 5, 10, 15, 20, 50 копеек и за 1 рубль (или по той же номинальной стоимости в американской валюте). Эти марки можно наклеивать рядом с почтовыми марками и таким путем популяризовать в иностранном мире борьбу за свободу слова и творчества, которая ведется сейчас в России.

Заказы на марки можно направлять прямо в адрес Фонда, прилагая к заказу чек или одновременно переводя на банковский счет Фонда соответствующую сумму. К переводам просим добав-

лять 20 американских центов (или эквивалент в местной валюте) на почтовые расходы по пересылке марок.

Находясь здесь, за границей, в безопасности, не страшась тюрьмы и преследований, каждый из нас может внести свою лепту в дело борьбы за свободу в России.

Фонд Свободной России призывает всех, как русских, так и иностранцев, друзей России, покупать и распространять марки с портретами писателей, поднявших знамя борьбы за свободу слова и творчества.

Комитет Фонда Свободной России

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможно также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости опустить его в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - V e r l a g , 6 2 3 F r a n k f u r t a m M a i n , 8 0 , F l u r s c h e i d e w e g 1 5 .

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности, на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

Г Р А Н И

Начиная с января 1968 года, подписная плата на 4 номера журнала «Грани» (в год), включая пересылку, устанавливается следующая:

В США и Канаде

При подписке непосредственно из издательства — дол. 7. —
При подписке через представителей и книжные магазины
— дол. 10. —

В Германии и во всех других странах

При подписке непосредственно из издательства — НМ 26.00
При подписке через представителей и книжные магазины —
НМ 30.00

Цена в розничной продаже с 1 января 1968 г.

Цена отдельного номера в США и Канаде — дол. 2.50
Цена отдельного номера в Германии и во всех других странах —
НМ 7.50 или эквивалент в местной валюте.

Подписчикам, внесшим подписную плату на 1968 г. до 31. 12. 67 г., журнал будет высылаться до конца этой подписки на прежних условиях.

Подписную плату следует посылать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M 80, Flurscheideweg 15,
а также банковским переводом:

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.

Из Германии подписную плату можно переводить и на

Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.

Отдельные номера журнала можно выписывать из издательства по указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

**КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.**